

СОВРЕМЕНИК



SOVREMENNİK

№ 14-15

ТОРОНТО

Обложка художницы Л. Балевиц - Шоу

СОВРЕМЕНИК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ

Благодарю Тебя. Творец, благодарю,
Что мы не скованы лжемудростью узкой.
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский,
Что пламенем одним с Россией я горю.

Аполлон Майков

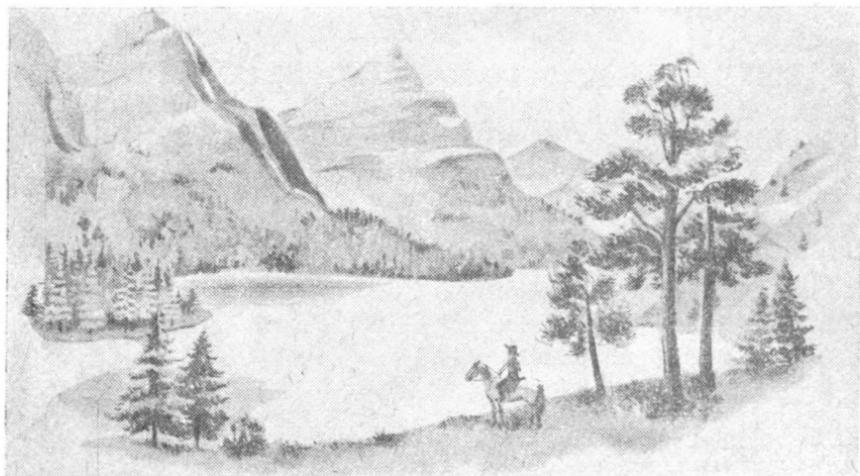
Ноябрь 1966 - Февраль 1967.
№ 14 - 15

КАНАДА

1867 1967

“O Can-a-da! Glo-rious and free!”

(Из гимна “О Канада”)



Еще недавно, в середине прошлого столетия, на необъятных просторах Канады, от берегов Гудзона и до горных хребтов на Западе жили только отдельные индейские племена. Британская торговая фирма Гудзон-Бэй имела там свои редкие посты по обмену пушнины и правила этой территорией. На побережье Атлантического океана только что сформировались первые провинции, а на север от реки Святого Лаврентия лежали огромные географические пространства “Верхней” и “Нижней” Канады, теперь — провинции Онтарио и Квебек.

На юг от Канады, в Соединенных Штатах пылали пожары Гражданской войны, напоминая о линиях раздела и границах: все более укреплялась идея создания своей страны, новой нации, своего государства.

“Я смотрю в будущее, когда мы будем считать себя не *канадскими* французами, *канадскими* британцами или *канадскими* ирландцами, а гражданами страны Канады **КАНАДЦАМИ** . . . “ — говорил до Конфедерации один из первых патриотов Канады Томас Мак Ги, страстно борющийся за идею объединения всех самостоятельных провинций, территорий и поселений Канады в одно целое государство.

1-го сентября 1864 года в городе Шарлоттаун состоялась важная конференция, на которой представители раз-

Юбилейный Комитет пров. Онтарио

UNITED RUSSIAN-CANADIAN CENTENNIAL COMMITTEE
of Ontario
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Провинции Онтарио

— * —

Honorary Chairman:

Prof. L. P. Smirnow, Ph. D.

Centennial Executive Committee:

Mr. M. P. Naumov, President

Mrs. M. M. Sosula, Secretary

Head Office:

17 Fuller Avenue

TORONTO 3, Ontario

Canada

Tel.: LE 3-0661

Юбилейный Комитет пров. Квебек

UNION DES ORGANISATIONS ETHNIQUES RUSSES
De la Province de Quebec

UNION OF RUSSIAN ETHNIC ORGANISATIONS
In the Province of Quebec

4391 MELROSE AVE. MONTREAL 28, P. Q. Tel.: 488-1455

— * —

Duke Dimitri of Leuchtenberg

De Beauharnais

President

G. M. Koutchougoura

Vice-President

S. N. Fedorow

Secretaire Generale

ных частей страны согласились в том, что объединение необходимо. Их было девять человек и они вошли в историю Канады как *"отцы конфедерации"* . . .

10-го октября того же года в городе Квебек соотоялась еще одна, не менее важная конференция, известная в истории как "Квебекская", на которой были приняты *"72 резолюции"* — проекты законов будущего британского доминиона Канады. . .

1-го июля 1867 года Британский Парламент утвердил эти *"72 резолюции"* и закрепил их особым Актом. С ЭТОГО ДНЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА КАНАДЫ НАЧИНАЕТ СВОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ.

Прошло 100 лет. Канада стала богатой страной. В ней живет сейчас 20 миллионов человек. Выросла огромная промышленность, создано высокопродуктивное сельское хозяйство, построены большие города, университеты, все средства современной коммуникации . . . История Канады коротка, но к ней, к пройденному ею пути обращаются взоры всех канадцев. В ознаменование столетия :

- восстанавливаются памятники старины,
- в столице Оттаве строится и готовится к открытию в 1967 году МУЗЕЙ СТОЛЕТИЯ КАНАДЫ,
- в Монреале заканчивается строительство и оборудование павильонов Всемирной Выставки — "ЭКСПО 1967",
- в Торонто строится огромный ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ,
- устраиваются передвижные выставки, готовятся специальные поезда с оборудованием для выступления театральных трупп, ансамблей, со студиями радио и телевидения,
- во всех уголках страны в ознаменование юбилея строятся библиотеки, госпитали, школы, научные институты, готовятся к выходу в свет специальные юбилейные издания журналов и книг, готовятся к выступлениям фольклорные хоры, ансамбли, музыкальные и театральные фестивали и выставки, украшаются и декорируются города, парки, улочки и дома —

КАНАДА ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ !



ИСТОРИЯ КАНАДЫ*)

Первый период : от тьмы веков до конца 15-го века.

”
”Вольный ветер веял парусам,
Каравеллы продолжали плыть.
Кто он был, тот первый, светлоокий,
Что завидев с палубы высокой
В диком море остров одинокий,
Закричал, как коршуны кричат?
Старый кормщик, рыцарь или пират,
Ныне он Колумбу — младший брат !.. “

(Из поэмы Н. Гумилева
”Открытие Америки“).

Знаменитый английский историк Арнольд ТОЙНБИ считает, что история человечества — это история созданных им цивилизаций. Русский историк Соловьев считал, что история страны это история государственных преобразований. Другие историки подчеркивают, что нельзя рассматривать историю одной страны в отрыве от истории остальных стран. Это, конечно, верно особенно по отношению к странам более поздней формации. Канада — одна из таких стран.

Канадский писатель Хью Макленан заметил как-то, что канадская нация состоит в основном из беженцев или потомков людей, бежавших из разных стран из-за тяжелых условий жизни или спасаясь от тех или иных преследований: религиозных, политических, расовых и других.

Много высказано интересных мыслей и о том, кто творит историю:

*) По тексту одноименного цикла коротковолновых передач Радио Канада в связи со столетним юбилеем Канадской Конфедерации. Публикуется с разрешения Дирекции Радио Канада (СВС).

— Народ творит историю, народ избирает исторический путь для себя, народ хозяин своей судьбы и строитель своего будущего — говорят одни, напоминая иногда библейское: «Глас народа — глас Божий»; другие же заявляют — вожди, руководители народа и страны указывают пути людям, от них — фараонов и императоров, цезарей и наполеонов — зависит ход истории и все наше будущее; третьи говорят, что и то, и другое верно, добавляя при этом, что «каков народ — таковы и его руководители»; четвертые утверждают, что природа страны и ее климат имеют большое влияние на ход истории каждого народа и на формирование характера народа. Например, историк Ключевский говорил, что если бы труднопроходимые Уральские горы достигали Каспийского моря, то в южно-русские степи не вливались бы непрерывным потоком страшные волны кочевых азиатских народов, столетиями несших смерть и опустошение древней России, что задерживало ее нормальное развитие; наконец, пятые указывают — случай играет большую роль в истории каждого народа, каждой страны: случайно удавшиеся или не удавшиеся дворцовые перевороты, бунты или революции разве не меняли на протяжении веков ход исторического развития? А преждевременная смерть руководителя страны (часто в результате несчастного случая или от руки недовольного подданного), приводившая иногда к распаду целых империй разве не подтверждает сказанное?

История любой страны — это все же в первую очередь история самого народа ее населяющего, «людского общества», по выражению Ключевского. К сожалению, из истории человечества или отдельных народов до нас дошли сведения только о самых последних тысячелетиях, да и то далеко не полные, особенно если говорить о Канаде или Америке в целом.

Первые люди, судя по всему, появились на нашей планете около миллиона лет назад. При этом, большинство ученых считает, что колыбелью человечества была Азия, ведь именно там были найдены остатки первобытного, так называемого «Пекинского человека», жившего несколько сот тысяч лет назад. Интересно, что и библейские Адам и Ева тоже жили в Азии. Знатоки библейских текстов утверждают, что «сады Эдема» находились между реками Тигром и Евфратом, примерно в том месте, где в начале нашей эры существовало богатейшее Пальмирское царство. Историки склонны думать,

что Эдем находился в Средней Азии в районе Семиречья, где за двадцать веков до Рождества Христова был даже город РАЙ.

Ну, а как же с остальными континентами и в частности с американским, который в своей большей части — по мнению геологов — ничуть не моложе, чем азиатский континент? Этот вопрос особенно касается восточной части Канады, которая возвышается над мировым океаном уже сотни миллионов лет. По всем данным, американский континент был всегда безлюден, если не считать самого последнего, ничтожного по своей продолжительности отрезка времени в ДЕСЯТЬ или, в лучшем случае, ПЯТНАДЦАТЬ тысяч лет. Но если считать, что колыбелью человечества была Азия, то откуда же появились люди здесь в Новом Свете?

Допустим все же, что здесь в плодородных прериях Канады или в тропических лесах южной Америки была своя колыбель человечества. Может быть, первые люди на нашем континенте произошли от тех самых обезьян, которые до сих пор весело прыгают по веткам бразильских джунглей? Правда, кажется, и сам Дарвин не был уверен, что эти обитатели джунглей были нашими прародителями. Не даром он не опубликовывал свой труд на эту тему целых 25 лет!

Во всяком случае, науке сейчас известно, что на создание самого примитивного человека понадобилось сотни миллионов лет и что появился он уже как человек сотни тысяч лет тому назад.

На всем же американском континенте ни разу не были найдены остатки человека, более древнего чем ДЕСЯТЬ тысяч лет, который по сравнению с ПЕКИНСКИМ или НЕАНДЕРТАЛЬСКИМ человеком кажется просто верхом совершенства. Тут сразу же возникают вопросы: откуда же тогда эти первые люди на нашем континенте, эти столь запоздавшие пришельцы? Почему они так долго медлили? Что заставило их, в конце концов, прийти сюда?

Библейские Адам и Ева и их многочисленные потомки жили в замечательной части Азии — плодородном, теплом, красивом, солнечном крае. Не даром именно там, почти две тысячи лет тому назад возникло богатейшее Пальмирское царство с его сказочно красивой столицей Пальмирой. Хотя этот город, на берегу Ефрата, был разрушен еще древними римлянами, он до сих пор считается символом красоты и совершенного градостроения. Именно поэтому во времена Ека-

терины Великой, поклонники «града Петра» назвали его «Северной Пальмирой». Да, но далеко не везде в Азии были такие райские условия. На ее огромных просторах было и есть сейчас много областей, где люди могли существовать только с большим трудом, кочуя с места на место.

Почему вышедшие из азиатской колыбели люди медлили столько тысяч лет прежде чем решиться на скачек на Американский континент? Ведь из северо-восточной Сибири «рукой подать» до Аляски, а оттуда по суше можно дойти хоть до мыса Горна, а по мнению многих ученых, в те далекие времена не существовало и того небольшого водного препятствия, которое лежит сейчас между азиатским и американским континентами — узенького Берингова пролива, возникшего на месте тонкого перешейка земли якобы соединявшего когда-то Сибирь с Аляской.

Тут трудно не вспомнить провинциального учителя географии из знаменитого романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», который сошел с ума, когда ему из Москвы прислали новые карты, на которых не было Берингова пролива! Может быть, если бы этот бедный учитель знал мнение некоторых канадских ученых на счет прошлого этого пролива, то полученные им карты не довели бы его до умопомешательства! Однако помимо препятствий географического характера существовали и другие, которые могли остановить даже самого бравого путешественника, «ищущего за далью даль», выражаясь словами поэта Твардовского. Какие же это препятствия, спросите вы? Ответ — ледники, покрывавшие половину Северо-американского континента и большую часть Сибири, около 15 тысяч лет тому назад. И только тогда, когда эти страшные ледники благодаря изменению климата стали отступать, тысячелетиями покрытые ими части Азии и Америки стали пригодными для жизни.

Вот тогда-то, видимо, т. е. десять с лишним тысяч лет тому назад, сюда в Канаду, а затем и дальше на юг стали пробираться первые люди, предки тех, кто по вине Колумба получили наименование индейцев.

Вопрос о происхождении первых обитателей Нового Света давно интересует ученых. В Канаде и в Соединенных Штатах этим вопросом занимается, в частности, русский профессор антропологии Павел Толстой.

Есть все основания предполагать, что миграция через Сибирь и Аляску не происходила постоянно, а волнами, рас-

стояние между которыми во времени достигало многих сотен или даже тысяч лет. Отсюда становится понятным — как отмечают антропологи — большое различие, которое до сих пор заметно во внешнем виде коренных жителей Нового Света, особенно в строении их черепной коробки, росте, цвете кожи, или точнее, оттенках этого цвета.

И в то же время все они были монголы, люди желтой расы, далекие предки которых принадлежали, видимо, к различным племенам, населявшим тысячи лет назад азиатский континент и в разное время попавшим в Новый Свет.

Между прочим, столь часто употребляемое в Европе выражение «краснокожие» появилось по недоразумению, так же, как и выражение «индейцы». Красной расы на свете нет. Канадские же, и вообще северо-американские индейцы, были названы «краснокожими» потому, что в прошлом они любили окрашивать свое тело — в особых случаях — красной краской и появлялись иногда в таком виде перед европейцами.

Далее следует отметить тот факт, что языки на которых говорят эти пришельцы из Азии совершенно различны. Индеец одного племени может говорить на языке, столь же отличающемся от языка соседнего племени, как русский от английского. Очень различен был также и уровень цивилизации и культуры коренных жителей Нового Света, когда с ними впервые познакомились белые люди. Инки в Перу еще в начале 15 века создали централизованную монархию и достигли поразительных успехов в экономике и культуре. Несколько позже, в том же 15 веке ацтеки в Мексике создали другое крупное государство, прославившееся своей древней культурой Майя, изобрели иероглифическое письмо, воздвигли замечательные здания. К сожалению — как это очень часто бывает в наше время — испанские завоеватели уничтожили в 16 веке оба эти государства и многие их культурные ценности.

В то же время эскимосы и индейцы, жившие на территории теперешней Канады и Соединенных Штатов и происходившие от тех же азиатских прародителей, прогрессировали очень слабо. Первые европейцы, посетившие Северную Америку и оставившие след в истории, столкнулись здесь с самым настоящим Каменным веком. Судя по археологическим находкам, крайне примитивная жизнь индейцев не менялась здесь тысячелетиями. Они из столетия в столетие продолжали пользоваться все теми же каменными орудиями,

жили все в тех же самых примитивных жилищах, употребляли все те же самые средства передвижения и не делали никаких попыток подчинить себе природу, улучшить свою жалкую судьбу, хотя бы прекратив бесконечные войны между племенами. Не удивительно поэтому, что некоторые ученые в Канаде высказывают мнение о том, что без помощи европейцев индейцы не смогли бы еще тысячи лет выбраться из Каменного века. Существует, правда, и иное мнение на этот счет, основанное на одном проблеске в жизни индейцев обособившихся в районе Великих озер.

В первой половине 15 века в деревне племени Гуронов, находившейся примерно на том месте, где стоит сейчас большой канадский город Кингстон, т. е. в том месте, где река Святого Лаврентия вытекает из озера Онтарио родился полу-легендарный просветитель и вождь ряда индейских племен — ДЕКАНАВИДА, прозванный «Небесным Посланцем». Вот как говорится о его появлении на свет и о его благотворной деятельности и о том как он создал Союз вождей индейских племен в одном из индейских сказаний:

”На северном берегу великого озера Онтарио, в местечке Таненданага, где обосновались люди из племени Гуронов, к одной молодой женщине-девушке пришел во сне посланец с неба от Создателя и сказал ей: ”у тебя родится сын, которому суждено будет посадить священное ”Древо мира“. Когда ребенок родился ему решено было дать имя Деканавида — Небесный посланец. Став взрослым, Деканавида сказал матери: ”Великий Дух поручил мне установить вечный мир между племенами, создать нерушимый союз между ними и ”Великий закон“, по которому они смогут жить, не зная страха“. После этого, Небесный посланец привел мать к большому дереву на холме у воды и сказал: ”После моего ухода, приходи сюда раз в год и ударяй по этому дереву томагавком. Если из разреза потечет кровь, то знай, что я не выполнил дела порученного мне Великим Духом; если же из разреза потечет древесный сок, то знай, что я жив и достиг успеха“. С тех пор из года в год на этом холме собираются вожди, возжигают священный табак и молятся Великому Духу.

Покинув мать, Деканавида отправился в места, где жили люди из племени Онондагос. Тут он совершил свое

первое чудо, переплыв озеро Онтарио на пироге, сделанной им из белого камня.

Придя к Онондагам, Деканавида решил испытать свою духовную силу на одном, известном своей жестокостью, войне-людоеде. Не застав его дома, Небесный Посланец решил ожидать война, лежа на крыше хижины и наблюдая через отверстие для выхода дыма. На очаге, прямо под ним висел котел с водой. Придя домой, воин увидел на поверхности воды в котле отражение лица Деканавиды и решил, что это его собственное лицо. Посмотрев на его добрые, благородные черты лица, воин понял, что человек с таким лицом не должен вести такую жизнь, какую он вел и с горя выплеснул воду из котла.

В это же время к нему в хижину вошел Деканавида и стал говорить воину о необходимости мира и союза для индейских племен. После встречи, этот воин из племени Онондагов стал самым близким учеником Небесного Посланца, верным его другом и помощником. В те далекие времена вождем племени Онондагов был страшный и жестокий АТОТАРХО, о котором говорили, что у него на спине семь горбов, а в волосах гнездятся змеи. Именно к нему и послал Деканавида своего верного ученика, с тем, чтобы убедить вождя внять учению Небесного Посланца о мире и союзе племен. Вот почему этот ученик был назван Деканавидой "Гайавата", т. е. "Вычесывающий змей". Многие люди из разных племен, выслушав приходившего к ним Деканавиду, охотно становились на его сторону.

Иногда однако они требовали от него доказательств, что он действительно послан к ним Великим Духом.

Тогда Деканавида созерцал на их глазах чудеса.

Однажды он даже затмил солнце, сиявшее над головами пришедших послушать Небесного Посланца.

Долго и неустанно проповедывали Деканавида и его ученик Гайавата среди людей из племени Мохавков, Сенекков, Онейдов, Онондагов и ~~Кайрогов~~ (Индейцы считают, что поэма Лонгфеллоу совершенно неверно описывает жизнь Гайаваты). Даже страшный вождь Онондагов Аотатархо встал в конце концов на их сторону, и дал Гайавате вычесать из своих волос змей.

И вот наступил день, когда между этими племенами был заключен вечный великий мир и союз с тем, чтобы — как сказал один из его вождей — "земля оставалась красивой, реки большие не бушевали и чтобы каждый человек мог бы везде ходить, не зная страха".

В этот год Деканавида посадил "Древо мира", корни которого указывали на все четыре стороны света, чтобы всякий, кто стремится к миру мог найти к нему пути.

Во главе союза Небесный Посланец поставил совет из 50-ти вождей и объявил им "Великий закон", по которому они должны судить и рядить всех.

Перед тем, как уйти навсегда от своего народа, Деканавида наставлял его призывать под "Древо мира" все новые и новые племена".

Такова одна из версий индейского сказания о полу-легендарном «Небесном Посланце».

Созданный им союз, объединявший сперва пять, а затем и шесть племен, был действительный, а не легендарный и он существует до сих пор, а индейцы к нему принадлежащие известны под общим именем ирокезов. Ирокезы (Iroquois) отказались от междоусобной войны, истощавшей силы всех индейских племен и стали жить по «Великому закону» представлявшему собой нечто вроде неписанной конституции. Они также оказались первыми, которые прочно осев на одном месте стали систематически заниматься сельским хозяйством, что постепенно помогло им улучшить условия жизни. Все это говорит о том, как считает, например, канадский ученый Гораций ХЕЙЛ, живший в прошлом веке долгое время среди ирокезов, что у этой части коренного населения Северной Америки появились первые признаки государственного устройства. Конечно, этот маленький прогресс не идет ни в какое сравнение с тем, чего добились до прихода европейцев на наш континент ацтеки и инки. Но все же это говорит о том, что в жизни индейцев, не менявшейся тысячелетиями перед приходом европейцев, стали появляться какие-то проблески прогресса.

Есть, однако, ученые, которые не согласны, или не полностью согласны с мнением о том, что первые люди пришли в Америку из Азии, точнее из северо-восточной Сибири. Од-

ни считают, что далекие предки индейцев и эскимосов, ацтеков и инков пришли не с запада, а с востока в те времена, когда северная Европа, Исландия, Гренландия и Канада были соединены между собой. Геологи однако же отмечают, что если такой естественный мост между Европейским и американским континентами и существовал когда-либо, то это могло быть только многие миллионы лет тому назад.

Другие ученые высказывают мнение, что первые жители южной Америки прибыли туда из Африки, пользуясь попутными течениями в Атлантическом океане и преобладающими восточными ветрами. При этом указывается на то, что расстояние между северо-западной частью Африки и берегами теперешней Бразилии сравнительно не большое — 2800 километров. Однако антропологи не находят абсолютно никакого сходства между населением Африки и Южной или Северной Америки, то же самое говорят и филологи, изучающие языки африканских и американских племён, но зато ряд ученых не раз обращал внимание на определенное сходство в обычаях, мифологии и языке между коренными жителями Америки, особенно южной Америки, и жителями Полинезии. Отсюда некоторыми делается вывод, что по крайней мере часть первых поселенцев Нового Света прибыла сюда с островов Полинезии, преодолев тысячи километров водного пространства Тихого океана. Однако критики подобного взгляда отмечают следующее: во-первых, судя по всем археологическим данным, острова Полинезии стали заселяться только полторы-две тысячи лет тому назад, т. е. на много позже, чем американский континент. Поэтому можно скорее предполагать противоположную миграцию, т. е. из Америки в Полинезию. Как известно, норвежец Хайардал совершил на плоту «Кон-тики» путешествие из Перу в Полинезию, пользуясь попутными течениями и ветрами, и доказал, что это вполне возможная вещь. Во-вторых, отмечается, что сходство обычаев, мифологии и языка может быть объяснено тем, что люди мигрировали в разные части света из одной, общей для всего человечества колыбели — Азии. Наконец, могут быть просто и случайные совпадения. Например, такие же тотемы, какие с давних пор столь искусно вырезают из стволов дерева индейцы нынешней канадской провинции Британской Колумбии можно встретить и у коренных жителей Новой Зеландии — маори. Живут же они в разных концах земного шара.

Есть, конечно, и много чисто фантастических предполо-

жений о происхождении в Новом Свете первых людей. Тут не малую роль играют и жители погибшей полу-мифической Атлантиды, споры о которой начались с легкой руки Платона, и исчезнувшие, согласно Библии, колена Израилевы и так далее.

Отметим еще раз, что по мнению большинства, как канадских, так и иностранных ученых, предки всех племен, населявших американский континент ко времени прихода сюда белого человека, были выходцами из Азии и переселились в Новый Свет через северо-восточную Сибирь. При этом можно предполагать, что те люди, которые пришли сюда раньше других были более развитыми и энергичными, и обосновались в более благоприятных для жизни человека местах, успели создать в Новом Свете замечательные для своего времени цивилизации. Остальные же, пришедшие позже и обосновавшиеся на территории современной Канады и Соединенных Штатов, почти не прогрессировали, как мы уже отметили, если не считать движения начатого в 15 веке полу-легендарным **ДЕКАНАВИДОЙ**.

Но чем же объяснить такой многовековой застой в жизни наших индейцев и эскимосов?

По мнению некоторых канадских ученых, в том числе и известного специалиста по истории индейцев Канады Дайамонда **ДЖЕННЕССА**, такой застой можно объяснить разными причинами:

Во-первых, большинство индейцев и все эскимосы вели всегда кочующий образ жизни и при этом разбивались на мелкие группы, редко общавшиеся друг с другом, так что даже внутри одного племени у людей не было крепких связей и единого руководящего начала. Хотя каждое племя имело своих вождей, они обычно не обладали какой-либо властью и специальными привилегиями. Если тот или иной вождь не умел убедить своих соплеменников в том, что им следует поступать так-то и так-то, то заставить их что-либо делать он не имел силы. Вот почему, помимо чисто военных доблестей, каждый вождь должен был обязательно в совершенстве обладать ораторским искусством, способностью убеждать. Кроме того, страна была совершенно дикой с очень суровым климатом, судя по всему даже более суровым, чем в наше время. Поэтому главным делом жителей, отнимавшим почти все их время и силы, было добывание пищи. Если же к этому добавить постоянные военные столкновения между

племенами, сильно истощавшие силы индейцев, то станет понятно почему белые люди, пришедшие в Канаду обнаружили здесь примитивную жизнь каменного века. Но упомянутый нами канадский ученый Дайамонд ДЖЕННЕСС дает и еще одно объяснение.

Дженнесс говорит, что в истории многих народов наблюдались многовековые застои, отсутствие стремлений к какому-либо прогрессу: экономическому, социальному, культурному, на подобие Американских племен, населявших Северную и Южную Америку. Видимо, в какие-то периоды своей истории то или иное племя или народ были просто психологически не подготовлены к восприятию каких-то новых идей, к изменению своего примитивного образа жизни, к прогрессу. Этим можно объяснить, например, почему племена, жившие рядом с высоко развитым государством, созданным ацтеками на территории современной Мексики или инками в Перу, веками сохраняли свой примитивный уклад жизни. Этим же можно объяснить и тот факт, что общение канадских эскимосов с европейцами, начавшееся — как теперь выяснено — еще в десятом веке и продолжавшееся столетиями, совершенно не изменило образа жизни этих обитателей далекого севера. Они не переняли тогда от европейцев — варягов абсолютно ничего, если не считать несколько слов из древне-скандинавского языка, как утверждают филологи.

Как же произошла эта первая встреча, вернее самая ранняя из известных нам встреч белых людей с коренными жителями Америки?

Как известно, в Европе и особенно в России всегда обращалось много внимания на деятельность в древние времена норманов, известных по русским летописям под именем «варягов». Это и понятно, так как варяги, дойдя до берегов Азовского моря создали там вместе со славянскими племенами целое большое княжество с главным городом Тмуторокань, а позднее помогли основать Киевскую Русь.

Однако варяги пытались продвинуться и на запад, за пределы Европейского континента. В результате, в 874 году эти смелые люди создали поселение в далекой Исландии — суровой, холодной стране со страшными действующими вулканами. Вот как описывал эти огнедышащие вулканы в 14-ом веке архиепископ новгородский Василий:

«На дышащем море червь не усыпающий, и скрежет зубный и река смоляная Морг».

Русский ученый и путешественник Сергей Марков предполагает, что описание потоков черной лавы, «реки смоляной» — исландских вулканов было сделано архиепископом Василием со слов новгородских мореплавателей, побывавших в гостях у Варягов в Исландии. Так вот именно там, в Исландии, девять веков назад, а позднее в Гренландии произошли первые встречи эскимосов с европейцами — варягами, и судя по всем данным, это общение продолжалось до 16-го века. Не исключена при этом и возможность — скажет человек с пылким воображением — что русские гости из Новгорода увидели в те далекие времена в Исландии этих странных пришельцев с запада, лица и цвет кожи которых столь напоминали людей, попадавших в древнюю Русь из-за Урала!

Первые встречи эскимосов с варягами имеют определенную связь с дальнейшим ходом канадской истории, так как уже через несколько лет, как теперь удалось установить весьма точно, первые Европейцы ступили на землю Нового Света и — судя по всему — на берег той его части, которая теперь называется Канадой. Произошло это в тысячном году.

Варяги пришли в Новый Свет из Исландии и Гренландии. В скандинавских сагах говорится, что вскоре после того, как в Исландии в 874 году было создано первое постоянное поселение, там образовалась целая большая варяжская колония в 50 тысяч человек. Меньше чем через сто лет подобная же колония была основана варягами и в южной Гренландии, где она просуществовала более четырех веков. В сагах говорится, что основателем этой колонии был храбрый викинг по имени Эрик ЭРИКСОН, по прозвищу «Красноголовый».

От южной же Гренландии, можно сказать, «рукой подать» до берегов нового континента, точнее до той его части, которая называется теперь Канадой. О том же, что такая земля на западе существует, варяги, вероятно, знали, так как встречались с эскимосами, навещавшими иногда этих рослых, бледнолицых колонистов, не хуже их умевших обращаться с веслом и парусом в открытом бурном море. Известно было также, что один викинг по имени ГУНБЬЕРН, ладью которого отнесло однажды штормом далеко на запад, заметил на горизонте землю. Не удивительно, поэтому, что уже через два десятка лет после того, как Эрик ЭРИКСОН обосновался в Гренландии, его сын Лиф, столь удачно прозванный «Счастливым», с легкостью достиг берегов этой большой земли.

Летом тысячного года Лиф и 35 его спутников ступили

на континент, который только через много веков получит название «Америка». Но прежде чем рассказывать об их дальнейших приключениях на этом континенте, посмотрим что происходило в это время в России, где варяги также играли не малую роль в развитии событий.

Это было время прославленного киевского князя Владимира «Красное солнышко», о котором историк ПУШКАРЕВ пишет: «Первые киевские князья создали лишь тело Русского государства, но только Владимир, принятием христианства, вдохнул душу в это тело. Поэтому князь Владимир был не только духовным отцом русского народа, но и настоящим основателем русского государства». Между прочим, именно в тот год, когда бравый варяг Лиф «Счастливый» первым из европейцев ступил на землю нового континента, русский летописец отметил: «В тысячном году умер славный богатырь РАГДАЙ Удалой, пришедший на Русь из варяжской земли и ходивший один на тристо воинов...». Да, варяги были удивительными людьми, им не занимать было и смелости, и силы, и дерзости, и готовности проникать в самые отдаленные, самые дикие места земного шара! Их не могли испугать или остановить самые дикие и воинственные племена, бродившие по лесам и степям древней восточной Европы и мешавшие становлению Киевской Руси, а до нее — созданию Тмутаракани на юге. Их не могли остановить, сбить с пути ни бури, ни туманы, ни холод, ни лишения на морях и океанах. Вот почему, когда — сравнительно недавно — в древних скандинавских сагах была разыскана история Лифа ЭРИКСОНА, повествование о том, как он и его спутники открыли в тысячном году новый континент, то у многих, знавших историю варягов сразу появилась уверенность, что это было именно так и что Колумб, и другие, подобные ему образованные и смелые мореплаватели, опоздали с открытием Америки на целых пять веков. Вернемся однако к Лифу Счастливому.

Судя по описанию местности, которая открылась его глазам, когда он впервые высадился на берег нового континента, это был берег Лабрадора, то-есть место, которое сейчас составляет материковую часть канадской провинции Ньюфаундленд. Несмотря на то, что было лето, каменистую землю и бесчисленные скалы и камни покрывал еще снег. Вдали Лиф и его спутники заметили гряду холмов, каменистых, лишенных растительности. Назвав эту суровую, негостеприимную страну ХЕЛЛУЛАНД, что значит «Страна камней», они

поспешили ее оставить и направили свою ладью на юг следуя вдоль берега. Сколько дней они плыли — неизвестно. В сагах упоминается только, что второй раз они сошли на берег в месте куда более приветливом: пляжи из белого песка, а дальше зеленая стена дремучего леса. Эту страну — судя по всему речь шла об одной из теперешних приморских провинций Канады — Лиф ЭРИКСОН назвал МАРКЛАНД, что означает «Страна лесов». Но и здесь он не остановился!

Говоря словами поэта Гумилева, «Муза дальних странствий» влекла этого варяга все дальше и дальше!

Пользуясь крепким северо-восточным ветром, Лиф отправился дальше на юг. Наконец, через два дня он и его спутники высадились на берег в третий раз. На этот раз, это была местность, о которой можно только мечтать, особенно человеку, выросшему на далеком севере, в Скандинавии, Исландии или Гренландии: теплая, солнечная погода, прозрачные реки и озера, полные рыбы, яркая зелень лесов, полных дичи, и вкусных ягод, ласкающие взор поляны, местами поросшие дикими зерновыми колосьями, и даже лозы дикого винограда, свисающие с кустов. Варяги никогда не видели раньше винограда. Но бывший с ними в плавании один человек по прозвищу «Турок», иными словами южанин, рассказал им, что это именно те ягоды, из которых делается вино!

Лифу настолько пришелся по душе этот рай на земле, который он — видимо имея в виду виноград — назвал Винланд, что он решил остаться там до следующей весны вместе со всеми своими товарищами. Предполагалось, что Винланд находился где-то на побережье современного американского штата Мейн или несколько южнее. Благополучно перезимовав, они отправились назад в Гренландию, где весть о новой большой земле со всеми ее невиданными на севере природными богатствами быстро распространилась среди варягов-колонистов.

Интересно что в сагах не говорится ни слова о том, что Лиф ЭРИКСОН хоть раз видел кого-либо из жителей открытого им континента. Сведения об этих жителях появляются только после того, как в Винланде начинают создаваться первые небольшие постоянные поселения варягов. Самое крупное такое поселение было организовано одним предприимчивым человеком по фамилии КАРЛСЕФИНИ в 1007 году или несколько позже. Оно состояло из 160 мужчин (с женами и детьми), привезших с собой даже крупный рогатый скот.

Были построены дома и впервые установлена связь с местными темнокожими жителями, которых варяги называли «скрелинги». Вначале все шло хорошо, был даже установлен товарообмен с этими скрелингами. Однако — как это часто бывало в истории — люди разной расы, разного уровня развития, не имеющие общепонятного языка и обычаев, быстро поссорились, и полилась кровь.

Варяги - колонисты сразу не отступили; таких храбрых людей, даже если они в меньшинстве, трудно было испугать. Однако, когда из года в год их ряды стали все больше и больше редеть под стрелами и копьями воинственных племен нового континента, колонисты не выдержали и покинули его, покинули на столетия.

Есть основания предполагать, что варяги не только побывали на атлантическом побережье теперешней Канады и Соединенных Штатов, но и проникли вглубь континента, опять-таки морским путем. Некоторые ученые считают, что варяги проникали даже в тот огромный залив, который был много позднее назван по имени знаменитого английского мореплавателя Генри ГУДЗОНА, погибшего там в 17 веке при весьма трагических обстоятельствах.

Интересно, что в русских летописях не было найдено ни одного упоминания об открытии варягами Америки или о том, что они создали несколько поселений в Новом Свете. Ведь тогда, а это были времена славного киевского князя Владимира, судьбы многих варягов были тесно связаны с судьбами русского народа, с их помощью создавалось русское государство, велись войны. Вспомним хотя бы такие строки из исторической поэмы Алексея Толстого: «Песня о походе Владимира на Корсунь»:

Готовы струги, паруса подняты,
Плывут к Херсонесу варяги,
Поморье, где южные рдеют цветы,
Червленые вскоре покрыли цветы
И с русскими вранами стяги!

Или из его же поэмы «Змей Тугарин», в которой князь Владимир провозглашает:

Я пью за варягов, за дедов лихих,
Без русская сила подъята

Кем славен наш Киев, кем грек приутих,
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката!

«За синее море, которое их, шумя принесло от заката!» — т. е. с запада. Кто знает, может быть, среди тех варягов, которые во времена князя Владимира пришли из-за синего моря на Русь были и первооткрыватели Нового Света! Может быть, в жилах некоторых русских людей, с которыми они породнились оставшись на Руси, до сих пор течет кровь Лифа Эриксона и его спутников или, может быть, они сложили свои буйные головы, защищая молодое русское государство. Кто знает? В русских же летописях, повторяем, нет ни слова об открытии варягами Нового Света за пять веков до Христофора Колумба и Америго ВЕСПУЧЧИ, именем которого, столь несправедливо, был назван весь огромный континент.

Спрашивается теперь, смогли ли ученые найти «вещественные доказательства» подтверждающие открытие Нового Света варягами и их деятельность здесь, о которой повествуют древние скандинавские саги, народные сказания. Да, такие доказательства были за последнее время найдены. Первым долгом следует остановиться на деятельности в Канаде известного норвежского археолога Хелге ИНГШТАДА.

В течение нескольких лет, археолог Хелге Ингштад очень тщательно изучил многие места на Лабрадоре и в северной части острова Ньюфаундленда, которые вместе составляют канадскую провинцию Ньюфаундленд. Почему именно эти места? Вероятно, потому, что побережье Лабрадора и северная часть Ньюфаундленда лежат в два раза ближе к южной Гренландии, чем побережье канадской провинции Новая Шотландия или, тем более, побережье американского штата Мейн. Южная же Гренландия была несомненно тем местом, откуда первые варяги попали в Новый Свет.

Могли ли варяги найти на суровом Лабрадоре или на севере острова Ньюфаундленда такую богатую растительность, такой мягкий климат, какой — согласно сагам — нашли в Винланде Лиф и его спутники? Ответ на все эти вопросы дают ученые — климатологи и частично даже филологи.

Климатологи считают, что в 10-11 веке климат в упомянутых местах Канады был значительно мягче, чем в наше время. Поэтому Лабрадор и северный Ньюфаундленд могли иметь столь же богатую растительность, какую мы наблюдаем сей-

час в самой южной части Канады или в американском штате Нью Йорк, например. Скандинавские же филологи установили, что название места, где были созданы первые варяжские поселения на этом континенте не обязательно произошло от слов «вино» или «виноград». Оказывается, что десять веков тому назад название Винланд, часто упоминаемое в сагах, могло означать также и «страну травы» или «травяную страну». Хорошие же пастбища могли привлечь в Новый Свет варяжских колонистов из Гренландии или Исландии, так как они там занимались главным образом животноводством, разведением крупного рогатого скота. Именно на этих основаниях, упомянутый нами норвежский археолог, обратил свое внимание на побережье Лабрадора и северного Ньюфаундленда. Исследования профессора ИНГШТАДТА увенчались огромным успехом: в конце 1963 года в самой северной части острова Ньюфаундленд он — произведя раскопки — обнаружил остатки целого варяжского поселения. Испытания на радиоактивность показали, что это поселение относится к 10-11 веку. Особое внимание археолога привлекли остатки очень большого здания, служившего варягам в те времена залом для собраний, пиршеств и других общественных надобностей.

Другое интересное открытие было сделано летом 1965 года канадским археологом профессором Томасом ЛИ. Занимаясь раскопками древнего становища эскимосов в районе бухты Унгава на севере провинции Квебек, профессор ЛИ обнаружил под ним остатки еще значительно более старинного поселения, которое по всем данным было варяжским. В этом поселении, состоявшем из каменных зданий с каменными полами, жило до 15 века двенадцать семейств.

Дальнейшая судьба их неизвестна.

Обратимся теперь к другому очень интересному доказательству того, что европейцы побывали в Новом Свете еще задолго до Колумба. Мы имеем ввиду одну карту, которую удалось недавно обнаружить и изучить американским ученым из университета Йейл.

Совершенно случайно десять лет тому назад в Европе были почти одновременно найдены три старинных документа: один представляет собой описание большого и очень рискованного путешествия, совершенного в 1245-47 годах послем Римского Папы Иннокентия 4-го к монгольскому хану; второй — часть мировой истории написанной в 13 веке французом БОВЭ.

Третий же документ, найденный в одной обложке с первым, представляет собой первую, обнаруженную до сих пор карту Нового Света, составленную до Колумба.

Американские ученые восемь лет изучали эту карту, проверяя ее подлинность и происхождение, и только в 1965 году опубликовали результаты своих исследований. Им удалось установить, что эта, удивившая весь ученый мир карта представляет собой копию сделанную в 1440 году в швейцарском городе Базеле с другой, видимо, еще более старой карты.

Найденная карта позволила установить или внести поправки во многое, что касается открытия Нового Света и деятельности варягов в северной Атлантике. Америка, точнее Северная Америка, показана на карте в виде огромного острова, лежащего к юго-западу от Гренландии. Два больших залива на этом острове представляют, канадские заливы Святого Лаврентия и Гудзона. Рядом на карте написано «Остров Винланд, открытый Лифом Эриксоном и Бьярни» — видимо, его товарищем по плаваниям в Новый Свет. Поражает с какой точностью нанесены на карте Исландия и Гренландия. Вероятно варяги обходили Гренландию и с севера, на что не решаются сейчас из-за тяжелых льдов, даже ледокольные суда. Косвенно, это указывает на то, что климат в те времена был в северном полушарии мягче чем сейчас — мнение, высказывавшееся не раз климатологами.

Но «Винландская карта» — как ее решили назвать американские ученые — вызывает и некоторые другие вопросы: кто и когда ее составил, насколько широко она была известна в Европе, имел ли копию этой карты Колумб, когда он отправлялся в 1492 году в свое первое большое плавание на Запад или Джон КАБОТ открывший Ньюфаундленд пятью годами позже? На этот счет высказываются сейчас самые различные мнения. Напомним в шутку одно остроумное и ядовитое замечание сделанное как-то Марк Твенем: «Исследования, проведенные многими комментаторами уже сильно помогли запутать данный вопрос. Возможно, поэтому, что их дальнейшие изыскания приведут к тому, что мы вообще ничего не будем о нем знать» . . .

Тот факт, что первыми европейцами, вступившими на Канадскую землю были именно варяги, не должен нас удивлять, т. к. в девятые ^{о м} ~~век~~, ¹⁰ ~~век~~ и ^{11-о м} ~~век~~ веках эти сказочно смелые люди, умевшие одинаково твердо стоять и на земле, и на палубе своих утлых судов завладели всей северной Атлантикой, расширили свою империю от берегов Бал-

тийского моря до берегов Исландии, Гренландии и, в конце концов, до берегов Канады.

Что же произошло в последующие века, после того, как на побережье теперешней восточной Канады были созданы первые поселения белокурых и бледнолицых пришельцев из-за океана, которых на западе принято называть викингами или норманами? Ведь и природа и климат Ньюфаундленда, например, были куда более благоприятными для жизни человека, чем, скажем, в Гренландии или Исландии, где по всем данным варяги имели колонии с многотысячным населением. Однако, когда с конца 15-го века в Америку вообще и в Канаду в частности стали прибывать европейские суда, то их команды не нашли здесь абсолютно никаких следов белого человека. Но они и не искали этих следов.

Даже если Христофор Колумб, Джон Кабот, Америго Веспуччи, Жак Картье и другие и слышали о том, что когда-то на этих диких берегах селились варяги и даже составили карту, найденную недавно, то, видимо, эти смелые мореплаватели — европейцы слышали и другое, а именно, что этих пионеров в Новом Свете уже давно нет.

Существует много предположений почему варяги не удержались в Новом Свете.

Одни считают, что их изгнали отсюда воинственные местные племена. Другие предполагают, что среди варягов-колонистов начался мор, т. е. повальная смерть от эпидемий, и что оставшиеся в живых бежали назад в Европу. Третьи думают, что варяжские прибрежные поселения в Новом Свете были уничтожены пиратами, а захваченные в плен колонисты проданы в рабство в Азию и Африку, что практиковалось веками морскими разбойниками. Считается также возможным, что отдельные варяжские семьи породнились здесь с местными жителями, в частности с эскимосами. Этим некоторые ученые объясняют тот факт, что среди канадских эскимосов попадаются иногда рослые, светлокожие и белокурые люди, столь похожие на скандинавов. Что же касается вопроса о том, как долго просуществовали европейские поселения в Новом Свете, то и здесь ничего точного установить пока не удалось.

В одних древних сагах говорится, что лишь несколько лет, в других же упоминается, что варяги жили здесь долгое время, даже веками. Последнее, видимо, ближе к истине, как считают археологи, основываясь на упомянутых нами недавних находках в Квебеке и Ньюфаундленде. Но в общем все ученые,

историки единодушны в высказываниях по вопросу о том, почему после открытия Нового Света варягами европейцы не интересовались им целые пять веков.

Вот как, например, говорит об этом известный канадский историк Джеймс КЕРЛЕСС: «Вскоре после открытия норманами нового континента, их империя на морях начинает исчезать. Средневековая же Европа была настолько занята своими собственными проблемами, имела еще столько своих собственных областей для освоения, что ей было некогда прислушиваться к рассказам норманнов, любивших бродить по морям и океанам. В результате, новый континент, лежащий где-то там за покрытым туманами Атлантическим океаном, оказался забытым надолго».

И действительно, история европейских народов в средние века состоит из бесконечных войн, нашествий диких орд из Азии, кровавых столкновений между отдельными княжествами и государствами Европы, религиозных конфликтов, периодов страшного мора и голода. Но именно в самый разгар всех этих событий, в Европе стали распространяться сообщения о замечательных путешествиях венецианца Марко ПОЛО во второй половине 13-го века. Эти путешествия, продолжавшиеся более двадцати лет, дали возможность Марко Поло увидеть много стран Азии и затем поведать европейцам о их сказочных богатствах.

Очень известный английский историк Герберт УЭЛЛС пишет, что рассказы Марко ПОЛО впервые возбудили интерес европейцев к другим континентам, к заморским странам, к Индии, где «не счесть алмазов в каменных пещерах»... Интерес же этот, как отмечает УЭЛЛС, привел в итоге к открытию Америки, вернее, к новому открытию Америки. К тому же, положение в Европе сильно изменилось к лучшему к концу 15 века: там появились сильные государства, после свержения в 1480 году татарского ига в России, исчезла опасность и новых монгольских нашествий, начинался расцвет науки и искусства, период Ренессанса.

Моря же и океаны земного шара стали бороздить корабли отважных капитанов, о которых столь замечательно сказано русским поэтом и путешественником Гумилевым в его поэме «Капитаны»:

На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремя и мель.

Чья не пылью затерянных хартий,
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.

Вы все, паладины Зеленого Храма,
Над пасмурным морем следившие румб,
Гонзальво и Кук, Лаперуз и Де Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!

Ганон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
Синдбад-Мореход и могучий Улисс
О ваших победах гремят в диферамбе
Седые валы набегая на мыс!

Что же влекло этих капитанов за горизонт, куда прокладывали они «свой дерзостный путь» через моря и океаны на своих каравеллах размером с современный речной пароходик?!

В первую очередь они искали прямых морских торговых путей в те сказочно богатые, но трудно достижимые по суше, страны Востока, о которых заговорили в Европе после путешествий Марко Поло по Азии. Но эти капитаны были, конечно, и «открывателями новых земель», по выражению поэта.

Всем школьникам известно, что Колумб открыл Америку и что он принял ее за Индию. Ну а как обстояло дело с Канадой? До сих пор принято было считать, что Канада, точнее прилегающий к ней огромный остров Ньюфаундленд, был открыт современником Колумба Джоном КАБОТОМ летом 1497 года. В России, это было время мудрого Ивана Третьего, важное время «собирания Руси», которое по выражению Ключевско-

го становится подлинным «национально-религиозным движением».

Джон Кабот был итальянским мореплавателем, соотечественником Колумба, но находился на службе у английского короля Генриха Седьмого. Вот почему, когда в Монреале был поставлен памятник капитану «Matthew» («Matthew» — судно, на котором Кабот впервые посетил Канаду), — то на нем были выбиты его имя и фамилия по итальянски — Джованни Каботто и затем на английский лад — Джон Кабот.

Но что же привело КАБОТА к берегам Канады через пять столетий после того, как brave викинг Лиф ЭРИКСОН высадился здесь летом тысячного года, как об этом повествуют скандинавские саги? Цель Джона КАБОТА была та же, что и у Христофора Колумба — найти морской путь в Азию, точнее в Японию, слухи о богатствах которой ходили тогда в Европе. Вот, видимо, почему английский король наградил не достигшего поставленной ему цели Кабота за открытие Канады, в которой он не обнаружил никаких богатых стран, всего лишь... десятью фунтами стерлингов!

Джона Кабота, прибывшего в Ньюфаундленд летом 1497 года, принято считать первым, после варягов, достигшим берегов Канады, несмотря на то, что в действительности еще в 15 веке, а, возможно, даже в 14-м, рыбаки суда из Европы посещали Канаду, точнее, остров Ньюфаундленд. Вероятно, рыбаки знали о том, что у этого острова богатейшие в мире места для ловли рыбы, которые и сейчас привлекают рыболовные суда многих европейских стран, в том числе и суда Советского Союза. Джон Кабот рассказывал, что местами море до того кишело рыбой, что его команда доставала ее ведрами прямо с палубы.

Однако Джон Кабот был первым, который открыто заговорил об этих рыбных богатствах «ньюфаундлендской банки» и, таким образом, положил начало открытой эксплуатации рыбных ресурсов Канады. Дело было в том, что Кабот не был рыбаком, и его интересовал только морской путь в богатые и таинственные страны Азии, а не рыба у берегов Канады. Рыбаки же, плававшие к этим берегам в те времена еще и до Кабота, усиленно скрывали найденную ими сокровищницу рыбы от возможных конкурентов и охотно распространяли рассказы о, якобы, встречающихся в Западной Ат-

лантике страшных морских чудовищах, способных проглатывать целые суда. Этим историки и объясняют почти полное отсутствие сведений о плавании европейских рыболовных судов к берегам Нового Света до Колумба и до Кабота.

Говоря о Колумбе, мы не можем, конечно, пройти мимо одного очень интересного открытия, сделанного совсем недавно канадцем **Педро Бильбао** — сотрудником Международного отдела Радио-Канада. Педро Бильбао — очень талантливый человек с огромной эрудицией.

Ряд лет назад, когда он работал в Лондоне над циклом программ для Би-Би-Си об открытии Америки, Бильбао настолько увлекся темой, что начал изучать все документы, касающиеся жизни и деятельности Христофора Колумба.

Главный труд о жизни этого замечательного итальянского мореплавателя принадлежит сыну Христофора Колумба Фердинанду. Этот труд был написан по-испански и затем переведен на итальянский язык. Оригинал пропал, и тогда пришлось сделать перевод снова на испанский язык; этот перевод и считается сейчас самым авторитетным и известным, так как и итальянский перевод впоследствии был утерян.

Внимательно читая это произведение, озаглавленное **«Жизнь адмирала Христофора Колумба, описанная его сыном Фердинандом»**, Педро Бильбао остановился на упоминании о том, что в феврале 1477 года Колумб совершил путешествие на сто лиг к западу от южной части острова «Ультима-Туле» — «остров размером с Англию». Когда он попал в эти ему незнакомые воды, он обратил внимание на то, что в них местами разница между малой и полной водой, т. е. между полным отливом и полным приливом, составляет огромную цифру — 26 морских саженей. В переводе на современные метрические меры, это равняется 46-ти с половиной метрам.

Бильбао, будучи сам навигатором и космографом по образованию, сразу же заподозрил здесь какую-то ошибку, так как в мире нет подобных огромных приливов и отливов, а если бы они и существовали, то при полной воде должны были бы наводняться большие пространства земной поверхности.

... Может быть, Колумб решил этой фантастической цифрой просто удивить своих современников, хвастнуть перед другими мореплавателями подобным чудом природы, якобы, виденным им в неизвестных никому водах? Однако хвастовство не было в характере знаменитого капитана. Он допускал иногда ошибки, но в большинстве случаев, все его наблюдения были очень точными. Возникает вопрос: — Может быть, вина лежит на переводчиках жизнеописания Колумба, ведь в те времена было очень много систем мер и весов?

Как мне рассказал сам Бильбао — мой друг и коллега по Радио-Канада, он решил точно выяснить — какие меры длины употреблялись моряками в Италии и в Испании во времена Колумба.

В результате, удалось установить, что испанский переводчик спутал итальянское слово «брачия» с похожим на него словом «бразас». Первое означает меру, известную в те времена и в России под названием «локоть». Второе же означает морскую сажень.

Значит Колумб говорил не о 26 сажнях, а о 26 локтях, или, примерно, о 15 метрах, так как генуэзский «локоть» — «брачия» равнялся 58 сантиметрам.

Когда этот факт был установлен, Педро БИЛЬБАО вспомнил об одном месте в Канаде, где наблюдается именно такая разница между малой и большой водой в то время года, о котором говорится в книге сына Колумба. Место это носит сейчас название залива Фанди. Он глубоко врезается в материк и служит естественной границей между канадскими атлантическими провинциями Нью Брунсуик и Новая Шотландия. Во всех же морских лощинах указывается, что в заливе Фанди наблюдаются самые большие в мире приливы и отливы, достигающие в некоторые времена года 20 метров.

Далее в жизнеописании Колумба сказано, что он плыл на запад от острова «Ультима-Туле».

Что же такое «Ультима-Туле»?!

Педро Бильбао указывает на то, что так было принято называть в те далекие времена самые отдаленные из известных европейцам части суши на Западе. Вот почему сперва понятие «Ультима-Туле» относилось к Азорским островам, затем к Исландии, Гренландии и, наконец, к непосредственно прилегающему к американскому материковому острову Ньюфаундленд. В те же времена, о которых говорится в жизнеописании Колумба, т. е. 2-ой половине 15 века, видимо, именно этот

остров и считался среди мореплавателей «Ультима-Туле».

В своей большой статье на эту тему, помещенной недавно в журнале «Америка», Педро БИЛЬБАО подробно излагает все те сведения, которые ему удалось собрать по этому поводу. Эти сведения подтверждают предположения, которых мы коснулись ранее, а именно, что Ньюфаундленд и богатейший в мире рыболовный район около этого острова — так наз. Ньюфаундлендская Банка, были известны некоторым европейцам еще задолго до Колумба.

Обращаясь к цитате «сто лиг к западу от южной части «Ультима-Туле», БИЛЬБАО приходит к выводу, что это расстояние, подсчитанное Колумбом, почти точно соответствует расстоянию между южной оконечностью острова Ньюфаундленда и входом в залив Фанди, огромные приливы и отливы в котором столь удивили этого мореплавателя.

— Но почему Колумб оказался в канадских водах в 1477 году? — спросил я Педро Бильбао.

На это канадский исследователь ответил:

— «Известно, что Колумб в начале своей морской карьеры был связан с Итальянской фирмой Ла Каза Сентурионе, суда которой возили в разные порты Атлантики соль необходимую для засолки рыбы. Узнав, что в районе Ньюфаундленда — тогдашней «Ультима-Туле» для европейцев — наблюдается богатый улов рыбы, агенты этой фирмы могли послать туда одно или даже несколько судов с солью, зная, что там за нее они выручат куда больше, чем на европейском побережье Атлантики».

Вот как Колумб мог попасть в район острова Ньюфаундленда, а затем и дальше на Запад к берегам северо-американского материка ровно 20 лет до того, как Джон Кабот попал в эти воды, якобы, первым, согласно официальной версии, существовавшей до наших дней.

Монреаль 1967 г.

(Продолжение следует).

EXPO — 67

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА 67 г. В КАНАДЕ

в г. Монреале

будет открыта с 27 АПРЕЛЯ до 28 ОКТЯБРЯ.



Борис Раневский в роли
доктора Гертлер в пьесе
"Я был здесь раньше" в
постановке Королевского те-
атра в Стратфорде, в Лон-
доне, в 1947 г.

БОРИС ФЕДОРОВИЧ РАНЕВСКИЙ .



В Лондоне на 86-ом году жизни после непродолжительной болезни скончался бывший артист Московского Императорского Малого театра Борис Федорович Раневский .

Годы после Первой мировой войны привели его в Великобританию, где, освоив английский язык, он с успехом играл на английской сцене в пьесах английского репертуара, а также в переведенных на английский язык "Месяце в деревне" Тургенева, "Дяде Ване" Чехова и других. В "Дяде Ване" он прекрасно передал английскому зрителю характер профессора Серебрякова.

Последнее выступление Б. Ф. было в телевидении в биографической пьесе, в которой он играл композитора Бартока.

Б. Ф. Раневский был постоянно связан со Славянским Отделом Кэмбриджского университета, куда его всегда приглашали, как демонстратора превосходного чтения русской поэзии. Вскоре после окончания Второй мировой

войны он осуществил постановку "Бориса Годунова" Пушкина на русском языке со студентами Славянского отдела.

Борис Федорович не был чужд литературной работе. Его статьи биографического характера о Тургеневе, Гоголе, Есенине, Блоке и Достоевском печатались в литературном журнале "Современник", в котором он принимал всегда живое участие и был членом его Издательского объединения.

Бориса Федоровича часто можно было видеть в библиотеке Британского Музея, погруженным в изучение образцов мировой драматической сцены, или занятым подготовкой своих лекций на литературные темы, которые он время от времени читал в Лондонском Пушкинском клубе с неизменным успехом.

Борис Федорович всю свою жизнь был предан театру и, являясь мастером слова, посвятил слову и, главным образом, русскому слову все свои творческие силы.



БОРИС РАНЕВСКИЙ

О ДОСТОЕВСКОМ

(Окончание. Начало статьи напечатано в 13-ом номере журнала) .

Когда Достоевский в 1862 г. в первый раз поехал за границу, он в два с половиной месяца побывал в Берлине, Дрездене, Висбадене, Баден-Бадене, Кельне, Париже, Лондоне, Люцерне, Женеве, Генуе, Флоренции, Милане, Венеции, Вене. В Берлине он пробыл всего сутки и город произвел на него «самое кислое впечатление». Париж показался ему «скучнейшим городом, и если б не было в нем очень много действительно замечательных вещей, то можно бы умереть со скуки . . . Французы, ей Богу, такой народ, от которого тошнит . . . » Лондон зато его поражает. «Какие широкие, подавляющие картины . . . Эти великолепные скверы и

парки, эти страшные углы города, как Уайтчепель (как он пишет), с его полуголым и голодным населением; Сити, со своими миллионами и всемирной торговлей . . .

Вместе с Н. Страховым, с которым он встречается в Женеве, Достоевский едет в Люцерн, Геную и во Флоренцию. Страхов сообщает, что Федор Михайлович скучал в Уффициях, сравнивал реку Арно с Фонтанкой и с увлечением читал во Флоренции новый роман Виктора Гюго "Les Misérables". Ни в письмах, ни в «Заметках», он не упоминает об Италии, о которой он так мечтал с раннего детства.

По странности в восприятии Европы и по неудовлетворенности выписанных впечатлений, суждения Достоевского удивительно напоминают отзывы о своем пребывании за границей Чехова. Оба они, очевидно, увидели в Европе одни отрицательные стороны ее, а положительных оценить не сумели, так как и тот, и другой ведь, в сущности, были людьми с очень односторонним образованием.

Свои воспоминания о заграничной поездке Достоевский внес в «Зимние заметки о летних впечатлениях». Страхов рассказывает в своих воспоминаниях: «Федор Михайлович не был большим мастером путешествовать. Его не занимали особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства, за исключением разве самых великих; все его внимание было устремлено на людей».

Достоевский поехал в Европу с готовой идеей и лишь «проверил» ее заграничными впечатлениями. Размышляя о России и Западе, он говорит, что Европа помогла нам в нашем национальном развитии, но теперь мы выросли до самостоятельной жизни, и европейская цивилизация нам не только не полезна, но вредна.

В омском остроге Достоевский вслушивался в речь каторжан и записывал меткие словечки, поговорки, народные выражения. «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Сколько историй бродяг и разбойников! На целые томы достанет». Все это вошло в «Записки из Мертвого дома». Книга произвела потрясающее впечатление. В авторе видели как бы «нового Данте», — слова Тургенева по поводу сцены в бане — который спускался в ад, тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности, рассказывает А. Миллюков.

Одновременно с работой над «Записками из Мертвого дома», Достоевский пишет роман «Униженные и оскорбленные». В нем можно найти отголоски отношений писателя к жене в пору ее увлечения Вергуновым.

Несчастья героев вызывали у читателей не только сочувствие, но и слезы. После появления этих двух произведений, Достоевский снова выходит в первые ряды русских писателей.

Достоевский — один из первых русских писателей-профессионалов. И он гордится своим званием, хотя и вечно жалуется на безденежье и постоянную спешку, мешающую ему отделять свои произведения. Он завидует писателям-аристократам, как Тургенев и Толстой, или писателям-чиновникам, как Гончаров: им не приходится писать ради денег. Думается однако что Марк Слоним справедливо замечает, что критики преувеличивали зависимость слога Достоевского от условий его работы. Будь у него больше времени для шлифовки слога, он, вероятно, писал бы все тем же стилем пространных монологов и словесных нагромождений, — потому что это была его манера. Вот несколько примеров словесных нагромождений из «Преступления и наказания»: Достоевский не ограничивается словами — «И только», он к ним добавляет: «и больше ничего». Он не ограничивается выражением — «Натура не берется в расчет», он добавляет: «натура изгоняется, натуры не полагается». А сколько стилистических и даже грамматических неправильностей можно встретить хотя бы в том же «Преступлении». Например: «Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них». Или: «Все это прежнее прошлое». И еще: «Он отлично хорошо знал». А потом явно неправильные грамматические обороты: «Два большие почтовые листа»; «четыре небольшие сафьянные футляра»; «самый солиднейший из всех жильцов». Все это, разумеется, мелочи; победителей не судят. А тем более такого победителя, каким был крупнейший русский писатель, величайший психолог мировой литературы.

Теперь об идеологических странностях Достоевского. Освобождение крестьян, создание независимого и гуманного суда, включая институт присяжных заседателей, преобразует страну. Интеллигенция левеет, Достоевский же правее. Бывшие монархисты становятся революционерами, а Достоевский делается монархистом. Этот срыв вправо начался у него еще в Сибири. Чтобы доказать высшим сферам свою благонамеренность, он сочиняет три патриотических оды. Первая не встретила одобрения. За вторую Достоевский был произведен в унтер-офицеры. Ода эта была написана на день рождения императрицы Александры Федоровны, вдовы Николая I. О царе, который фактивно возвел его на эшафот, а потом сослал на каторгу, Достоевский пишет: «Того ли нет, кто нас, как солнце сзарила . . . ». Третья ода была посвящена коронации Александра II. Она ускорила производство писателя в офицеры.

Достоевский пишет генералу Тотлебену, герою Севастопольской кам-

лании, умоляя его ходатайствовать о его помиловании: «Я был виновен, я сознаю это вполне. Я был уличен в намерении (но не более), действовать против правительства; я был осужден законно и справедливо; долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня . . . Мысли, даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уж нет . . . » .

Достоевский хочет вернуться в литературу столь же блистательно, как он в нее вошел. Но он колеблется, не знает, с чем появиться. С политическим памфлетом, повестью, комическим романом? (Под этим он имел в виду «Село Степанчиково», задуманное им еще в остроге). Он берется то за одно, то за другое. Аванс забран в двух местах, но ничего не готово. Повесть большая — «Село Степанчиково» — ему не нравится, даже опротивела. Повесть поменьше — «Дядюшкин сон» — тоже не нравится. Он пишет М. Федорову: «Пятнадцать лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохой. Я написал ее тогда в Сибири, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры. А потому написал вещичку голубиною незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии мало содержания».

Отослав в «Русское слово» «Дядюшкин сон», Достоевский продолжает работать над «Селом Степанчиковым». В письме к брату он утверждает, что в романе имеются величайшие недостатки, и, главное, может быть, растянутость, но что он имеет и великие достоинства, и что это лучшее его произведение. Он писал его два года, — с перерывом, понадобившемся для «Дядюшкина сна». В нем два огромных типических характера, продолжает он, создаваемых и записываемых пять лет, отделанных безукоризненно, характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой. Поместить роман Достоевскому было не легко. «Русский Вестник» возвратил его: не согласился на условия автора: 100 рублей с листа, в то время как Тургеневу платили 400 р. «Село» наконец появилось в «Отечественных Записках» в 1859 г.

В 1863 г. Достоевский летом во второй раз уезжает за границу. Там он переживает глубокую личную драму, в связи с своим романом с Аполлинарией Сусловой, девушкой, которую он впоследствии удостоивает названия — «подруги вечной».

Аполлинария Прокофьевна Суслова была дочерью бывшего крепостного гр. Шереметьева, выкупившегося на волю. Это типичная шестидесятиница: она читает Герцена, интересуется общественными вопросами и проповедует эмансипацию женщин. Ее рассказы — с тенденцией — печатаются в издаваемом братьями Достоевскими журнале «Время». Фе-

дора Михайловича она встречает на одном из его литературных выступлений. После этого она посылает ему поэтическое объяснение в любви. Сначала они встречаются в редакции «Времени» и в доме брата, а потом наедине. Достоевский оказывается ее первым любовником; до него она вообще никого не любила. Ей тогда было 22 года, Достоевскому 42. Однако, с первых же дней Аполлинария начинает тяготиться связью: она ждала возвышенной любви, а встретила страсть. Кроме того, всячески заботясь о жене, от которой ему удалось скрыть свой роман, Федор Михайлович ничем не жертвовал для Аполлинарии: он подчинял их встречи писанию, делам, семье. И он не впускал ее в «лабораторию духа»; мало делился с ней литературными планами, словом, относился к ней, как к обыкновенной любовнице. Аполлинарию это возмущало. А в то же время Достоевский до того увлекся ею, что дня не мог провести без нее. Весною 1863 г. они собираются вместе поехать за границу. Но писателя задерживает закрытие властями его журнала «Время», и Аполлинария выезжает одна. Достоевский должен был последовать за ней, и они должны были встретиться в Париже. Не беспричинно Марк Словим замечает, что этот съезд Аполлинарии — одной — уже указывает на трещину в их отношениях. Когда Достоевский наконец мог вырваться за границу, он поехал не прямо в Париж к Аполлинарии, а предварительно заехал в Висбаден, в надежде выиграть в рулетку. Там он действительно выигрывает сумму — 10.400 фр., но вместо того, чтобы на следующий день уехать, как он решил было, он снова заходит в игорный дом и проигрывает половину выигрыша. В Париже Аполлинария сообщает ему, что она познакомилась с одним студентом-медиком, испанцем Сальвадором и увлеклась им, но что он к ней скоро охладел. Она выслеживает его, хочет застрелить. Событие это глубоко укулоло Достоевского: он «метался в постели, кусал подушку». Немудрено, подумал он, что ему в Висбадене улыбнулось счастье в рулетке. Отвергнутый любовник утешает Аполлинарию, и постепенно переходит на роль друга и брата. . . . Происходит то же самое, что семь лет назад случилось в Кузнецке, когда Мария Дмитриевна изменила ему, и ему пришлось быть ее утешителем и советником, и выслушивать жалобы на молодого любовника. Достоевский предлагает Аполлинарии поехать с ней в Италию, «как брат», втайне надеясь вернуть ее любовь. Она соглашается. По дороге они останавливаются в Баден-Бадене. Здесь Достоевский проигрывается дотла. В гостинице они дрожали, что вот-вот подадут счет, а у них ни гроша — «скандал, полиция, гадость»! Достоевский закладывает часы, Аполлинария кольцо.

Тут в гостинице произошла та знаменитая сцена, которая почему-то наделала столько шума: Достоевский признался своей бывшей возлюбленной, что ему вдруг захотелось поцеловать ее ногу. Желание вполне

естественное, при любви к человеку, и, в сущности, скромное. Аполлинария ему этого не позволила сделать и приняла ногу, т. е. прикрыла ее платьем. (Она лежала на кушетке разутая, вечером, в ожидании, что Достоевский уйдет к себе в спальню. А он все вертелся возле нее).

Из Баден-Бадена они поехали в Италию. На пароходе из Неаполя в Геную они встретили Герцена, который нашел «Суслову очень умной». Расстались они, когда Достоевскому надо было вернуться в Россию. Аполлинария же отправилась в Париж.

Суслова представляла собой новый тип своевольной властительницы, с каким Достоевскому еще не приходилось встречаться. Она считала себя вправе делать все, что ей заблагорассудится, потому что отвергала все моральные условности и запрещения. Марк Слоним утверждает, что черты ее разбросаны в ряде образов, созданных Достоевским: отчасти в Дуне Раскольниковой, в Настасье Филипповне, в Аглае, в Ахмаковой («Подросток»), в Лизе («Бесы»), в Катерине («Братья Карамазовы»), в героине Вечного мужа и в Полине («Игрок»), и он говорит, что уже один перечень показывает, до чего Суслова «пронзила» Достоевского.

В 1864 г. умерла Мария Дмитриевна Достоевская. Аполлинария звала Федора Михайловича в Европу и сердилась, что он не приезжал. А он стал рабом семьи умершего брата Михаила и сына покойной Марии Дмитриевны, Паши. Последний, однако, так вел хозяйство, что денег никогда не было. После смерти брата осталось 25.000 р. долга. Достоевский взял на себя ответственность за них, и в течение 13 лет выплачивал долг. Кроме того он обязался содержать вдову брата и четырех ее детей. Но после краха своего журнала «Эпоха», он совершенно разорен. От кредиторов и долговой тюрьмы он бежит за границу с 175 р. в кармане. В Бисбадене Аполлинария встречает его холодно. Высокие порывы Достоевского называет банальной чувственностью. Он требует соединения навсегда, а она, сознавая свою власть над ним, снова начинает топтать его. Тогда он ищет забвения в рулетке, а это оскорбляет ее, и она уезжает в Париж, где заводит связи направо и налево, а Достоевский пишет ей пламенные письма и подписывается: «Твой весь». Денег у него нет. Он просит о займе Тургенева. Тот присылает 50 талеров, вместо просимых ста. Вскоре объявляют в гостинице, что Достоевскому не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофе. В конце концов стали давать чай, но больше ничего. Питаясь одним чаем, почти не выходя из комнаты, «сжигаемый какой-то внутренней лихорадкой» — слова из письма Врангелю — Достоевский работает над «Преступлением и наказанием».

По истечении двух с половиной месяцев, Федор Михайлович возвращается в Петербург. Припадки падучей повторяются чуть ли не каждые

пять дней. Он с нетерпением ждет приезда Аполлиарии. Она приезжает. Он опять ей делает предложение. А она опять издевается над ним. Смеется над его щегольством. Федор Михайлович заказывал себе костюмы у дорогих портных, а сидело все на нем мешком. Роман их дышал на ладан.

Как уже было упомянуто, Достоевский, во время своего пребывания в Висбадене, приступил к одному из своих капитальнейших произведений, к большому своему роману «Преступление и наказание». Роман был первоначально задуман в форме исповеди Раскольникова; но от этого плана автор впоследствии отказался. Тема романа вытекает из духовного опыта каторги. В остроге Достоевский впервые столкнулся с «сильными личностями», стоящими вне морального закона. Тут у него родилась трагическая фигура идейного убийцы. Вынашивание замысла продолжалось шесть лет. Семейству Мармеладовых автор вначале хотел посвятить отдельную повесть и думал назвать ее «Пьяненькие». Только позднее история этой семьи была введена в роман о Раскольнике. С самого момента своего возникновения, замысел об «идейном убийстве» распадался на две части: на преступление и его причины, и на действие преступления на душу преступника. (Чем и объясняется двойное заглавие). Роман направлен и против нигилистических идей. Убийца — «человек нового поколения», подавленный «недоконченными идеями, которые носятся в воздухе». Герой не ходячий преступник, а «развитой и даже хороших наклонностей молодой человек». Если и такой человек «сбивается с толку» под влиянием нигилистических идей, то можно себе представить, как разрушительны эти идеи, как «шатки понятия шестидесятых годов».

Достоевский сообщает Врангелю, что после того, как им уже было много написано, он все сжег и начал сызнова. И он добавляет: «Работаю дни и ночи и все-таки работаю мало. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, т. е. грозят посадить в тюрьму».

После смерти жены и брата Михаила, Достоевский начинает чувствовать себя одиноким — Аполлиария тогда находилась за границей — и решает присмотреть себе невесту. Поиски ее перебиваются случайными встречами с разного рода женщинами низжайшего полета. Г. Прохорову удалось отыскать следы одного «неразвернувшегося романа» с одной из таких «дам». Героиня его, некая Марфа Браун, рожд. Панина, мещанка, страпствовавшая по всей Европе и долго жившая в Англии, где вела знакомство с преступным миром и временами ночевала под мостами через Темзу. Методические миссионеры выдали ее замуж за американского матроса из Балтимора. Из брака, очевидно, ничего хорошего не вышло, и она снова оказалась в России, где с ней познакомился Достоевский. Он

отнесся к ней весьма сочувственно и даже предложил переехать к нему жить. До нас дошло одно письмо ее к нему из Петропавловской больницы, из которой она собиралась поехать прямо к нему. Она пишет: «...удастся ли мне или нет удовлетворить вас в физическом отношении и осуществится ли между нами та духовная гармония, от которой будет зависеть продолжение нашего знакомства, но поверьте мне, я всегда останусь вам благодарна за то, что вы, хотя на минуту или на некоторое время, удостоили меня вашей дружбы и вашего расположения... Мне решительно все равно в настоящую минуту, долго ли, коротко ли, продолжится ваше отношение ко мне; но клянусь вам, несравненно выше материальной пользы ценю то, что вы не побрезгали надшею стороною моей личности, то, что вы поставили меня выше того, чем я стою в своем собственном мнении...»

Ничего больше об этом романе неизвестно.

Чтобы удовлетворить драконовские требования жуликоватого издателя Стелловского, которому Достоевский продал права не только на уже написанные им произведения, но и на еще ненаписанные, он задумал необыкновенную комбинацию: написать в четыре месяца два романа, для чего он решил взять стенографистку. Стенография в то время была новинкой, и владела ею немногие. Учитель стенографии, к которому обратился Достоевский, предложил ему свою лучшую ученицу Анну Григорьевну Сниткину. Она была дочерью средней руки чиновника, за год до этого умершего. Мать ее была финка шведского происхождения. Анна Григорьевна окончила гимназию с серебряной медалью, даже побывала на педагогических курсах, но оставила их, чтобы изучить что-нибудь более практическое, и остановилась на стенографии, входившей тогда в моду. Она не любила нигилистов, была консервативна, религиозна и прочла все произведения Достоевского, перед которым преклонялась. Ей было 20 лет. Она была худощавая девушка с пронизательными и глубокими серыми глазами. Достоевский произвел на нее большое впечатление. Она полюбила его с первого взгляда, сама того не сознавая. Вскоре она стала давать ему советы относительно его хозяйства, словом, превратилась в помощницу и товарища. Другие женщины ему скорее мешали, а Анна Григорьевна наоборот, — облегчала его существование. Он ей сделал предложение, попросив ее стать на место героини романа, сюжет которого он только что изложил ей (Это был «Игрок»). Она ответила, что любит его и будет любить всю жизнь. Достоевский не был влюблен. Он лишь чувствовал, что Анна Григорьевна родная и добрая; и он верил в ее обещание любви.

Достоевский уважал брак, как «освященное церковью и Богом сожи-

тельство, давшее оправдание эротизму». В браке он надеялся стать, как все, — отказаться от собственной необыкновенности. Анна Григорьевна впоследствии сказала своей дочери, что 45-летний Достоевский в год сватовства «был молод, и интереснее и живее молодых людей ее времени».

В день свадьбы произошло то же, что пришлось испытать первой жене Федора Михайловича: у него, от волнения и выпитого шампанского, было два припадка падучей. Чтобы уйти от интриговавших против нее родственников мужа, Анна Григорьевна предложила ему поехать за границу. Но для этого не нашлось денег: аванс, полученный от Московского журнала «Русский Вестник», весь ушел на нужды родственников и на умиротворение наиболее крикливых кредиторов. Тогда Анна Григорьевна заложила все вещи, приобретенные на те 2.000 р., которые отец оставил ей на приданное: мебель, серебро, платья и пр. и Достоевские смогли, к изумлению родни, не желавшей этого отъезда ее «дойной коровы», выехать за границу. Думали они пробыть там три месяца, а остались четыре с лишком года. Но это пребывание за границей имело весьма благотворное влияние на их супружеские отношения. Они успели позабыть неудачное начало их совместной жизни, проведенной в непосредственной близости с родственниками Достоевского, с самого начала не влюбившимися сго молодую жену. Отныне жизнь их стала счастливым, прочным содружеством. В Европе они побывали в Германии, — где долгое время жили в Дрездене — в Швейцарии, в Австрии и Италии. Анна Григорьевна была очарована этими странами, а Достоевский, не переставая, ругал все и вся. Он за четыре года не завел знакомства ни с одним иностранцем, не выказал желания узнать западных писателей и мыслителей.

В Баден-Бадене происходит разрыв Достоевского с Тургеневым. Федор Михайлович всегда недолюбливал, как он выразился «генеральства» Тургенева, «аристократических, фарисейских объятий, с которыми он лезет целоваться, но подставляет сам свою щеку». Неприязнь Достоевского к Тургеневу началась с первых же встреч их в Петербурге, в кружке Белинского и Некрасова, сгруппировавшегося вокруг «Современника», где об авторе «Бедных людей» распространилось мнение, что он «заражен самолюбием и возмечтал о себе», как он сам сообщил брату. И тут началась беспощадная травля его: посыпались насмешки и эпиграммы. Такие «развенчивания» знаменитостей были вполне в нравах журнальных кругов. Авдотья Панаева, — жена известного в то время литератора — пишет в своих «Воспоминаниях»: «С появлением молодых писателей в кружке, беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, считая себя несравненно выше по таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах. Особенно на

это был мастер Тургенев. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведения, нанести ему обиду. Григорович сообщает, что «Достоевский однажды при встрече с Тургеневым, к сожалению, не мог сдержаться и сказал, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех в грязь затопчет . . . После этой сцены произошел разрыв между кружком Белинского и Достоевским».

В июле 1867 г. Достоевский опять уехал за границу, чтобы скрыться от должников. Когда он приехал в Баден-Баден, то там жили Тургенев и Гончаров, рассказавший Достоевскому, что Тургенев видел его в казино. Достоевский почувствовал, что, если он не пойдет к Тургеневу, то тот подумает, что он избегает его из-за неуплаченных 50 талеров, которые Тургенев выслал ему в Висбаден в 1864 г. Из письма Достоевского к Майкову мы узнаем, что Федор Михайлович в течение свидания с Тургеневым раскритиковал его «Дым» и посоветовал ему купить телескоп, чтобы из Баден-Бадена лучше разглядеть Россию. Мы также узнаем из этого письма, что Достоевский высказал Тургеневу свою ненависть к немцам, считая их глупее русских, что Тургенев тут побледнел и сказал, что Достоевский этими словами его лично обижает. Он, мол, поселился в Германии окончательно, сам себя считает за немца, а не за русского, и гордится этим. Достоевский ответил, что не ожидал, что Тургенев это скажет, и попросил извинить, что оскорбил его. (В предисловии к немецкому изданию «Отцов и детей» Тургенев говорит, что слишком многим обязан Германии и, подчеркивая свою признательность к «zweites Vaterland», добавляет, что он любит называть себя «баденским буржуа»).

У Достоевского критика либерализма постепенно обострялась. Россия мыслится, как христианская монархия, покоящаяся на взаимной любви царя и народа. В 1868 г. Достоевский пишет Майкову из Женевы: «Здесь я, за границей, стал для России совершенным монархистом. У нас, если сделал кто что-нибудь, то, конечно, один только он (царь). Всеми миру готовится великое обновление через русскую мысль, которая плотно спаяна с православием, и это совершится в какое-нибудь столетие, — вот моя страстная вера».

Однако почти ровно в полстолетие в России произошло диаметрально противоположное!

Первая жена Федора Михайловича только и мечтала о гостях, о роли в обществе и о званных обедах. А у Анны Григорьевны не замечалось никаких стремлений вести светский образ жизни. Как и муж, она искала лишь мещанского счастья. При свойственной ему мнительности, Федор

Михайлович всегда ожидал всяких неудач и неприятностей. А Анна Григорьевна, в силу своей непреклонной веры в него, старалась и в мужа вселять большее к себе доверие. Супружеские трения она принимала как неизбежное зло. Прощала она мужу и его страсть к рулетке и его проигрыши. Она согласилась остаться в Баден-Бадене пять недель, ставшие для нее кошмаром: Федор Михайлович вечно пропадал в казино, и она не знала, хватит ли у них денег на завтрашний обед. Когда Достоевский, впоследствии, в Висбадене в рулетку сыграл в последний раз, после чего, действительно, навсегда бросил игру, он признался жене, что принадлежал ей лишь наполовину, пока был одоляем страстью к рулетке; теперь же, отказавшись от игры, стал принадлежать ей целиком.

Переживания Достоевского, испытанные им в игорных залах, вошли в его роман «Игрок». Автор по поводу его пишет Страхову: «Если «Мертвый дом» обратил на себя внимание публики, как изображение каторжных, которых никто не изображал наглядно до «Мертвого дома», то этот рассказ обратит непременно внимание, как подробнейшее описание рулеточной игры». Но так как нельзя было построить повествование на одной лишь рулетке, то писатель вводит автобиографический материал: воспоминания о заграничном путешествии с Аполлиinarieй Суловой. Героини романа, Полина, наследует ее имя и ее страстный, властолюбивый характер.

По поводу «Идиота», автор пишет своей племяннице: «Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете». Далее он высказывает мнение, что из прекрасных лиц в христианской литературе всего законченнее описан Дон Кихот; но он прекрасен только потому, что в то же время и смешон. Майкову Достоевский пишет, что финал первой части «Идиота», т. е. вечер у Настасии Филипповны, ему стоил двух припадков сряду.

Достоевский своим романом не был доволен: не выразил в нем и десятой доли того, что хотел выразить.

(Происхождение фамилии Мышкина объясняется следующим образом: в романе кн. Мышкин рассказывает о крестьянине, зарезавшем приятеля с молитвой. В «Московских Ведомостях» от 5. II. 1867 г., Достоевский прочел о деле крестьянина Балабанова, убившего мещанина Сулова. Оба они выпивали и закусывали, и Сулов показал свои серебряные часы. А когда Сулов принялся ставить самовар, Балабанов взял со стола кухонный нож, подошел к Сулову и со словами: «Благослови, Господи, прости Христа ради», перерезал ему горло». Балабанов был крестьянин Ярославской губернии, Мышкинского уезда).

Из всех русских писателей, Достоевского интересует один Лев Толстой, который «успел сказать наиболее своего». Он с увлечением читает «Войну и мир», хотя восторги Страхова кажутся ему преувеличенными. Литературным ответом на «Войну и мир», является роман Достоевского «Подросток». В заметках о романе Достоевский пишет: «Благообразие толстовских героев, которыми так иронически-восторженно восхищаются Версильев, оказалось необычайно хрупким: через одно поколение оно превратилось в «безобразие» героев «Подростка». В романе Версильев говорит сыну: «У меня, мой милый, есть один любимый русский писатель, один романист, но для меня он почти историограф нашего дворянства, или, лучше сказать, нашего культурного слоя. Он психолог дворянской души. Он берет дворянина с его детства и юности, он рисует его в семье, его первые шаги в жизни и юности, первые радости, слезы, и все так незыблемо и неоспоримо . . . О, это не герои. Это — милые дети, у которых прекрасные, милые отцы, кушающие в клубе, хлебосольничающие в Москве, старшие дети их в гусарах или студенты в университете, на имеющих свой экипаж . . . » .

После свыше четырехлетнего добровольного изгнания, Достоевский, в 1871 г. возвращается в Петербург. За границей он тосковал по России, в России он чувствует себя чужим, мечтает о путешествии на Восток, собирается написать книгу о Греции, Афоне, «Святой Земле». Начинается безотрадная жизнь бедного литератора: преследования кредиторов, переезды с квартиры на квартиру, да к тому еще нелады с родственниками. Федор Михайлович узнает, что его пасынок Павел Исаев пораспродав всю его библиотеку! Спасаясь от кредиторов и родственников, Достоевский летом 1872 г. переезжает в Старую Руссу. Он пишет жене: «Мне нестерпимо скучно жить. Если бы не Федя (только что родившийся сын), то, может быть, я бы помешался. Что за цыганская жизнь, мучительная, самая угрюмая, без малейшей радости, а только мучайся, только мучайся».

Неприветливо встретила родина Достоевского: роман «Бесы» успеха не имел. Либеральные критики травили «ретрограда» и объявили о полном падении таланта автора «Бедных людей». В январе 1873 г. писатель принимает предложение кн. Мещерского редактировать его газету «Гражданин». Один отдел газеты он посвящает своему «Дневнику писателя», в котором печатает рассказы, отклики на текущие события, литературную критику, личные воспоминания и философски-нравственные рассуждения.

Однако ультрареакционная тенденция кн. Мещерского Достоевскому все же оказалась не по душе, и он через год бросает редакторство. А «Дневник писателя» он стал сам издавать, и у него вскоре появилось 7.000 подписчиков.

В «Бесах», как известно, Достоевский вывел Тургенева, под именем писателя Кармазинова, сочувствовавшего революционному движению, возглавляемому террористом Нечаевым. Иван Тхоржевский, в своей «Русской литературе» находит, что он «зло и неверно изобразил его прислужником революционеров». А сам Тургенев по поводу этого сказал: «Это была бы просто-напросто клевета, если Достоевский не был бы сумасшедшим, в чем я несколько не сомневаюсь».

(Предполагается, что имя Кармазинов взято от французского «красмуази», характеризующего темно-красный цвет, желая этим оттенить уклон влево писателя).

После долго длившейся ссоры, к Достоевскому пришел Некрасов и предложил взять в «Отечественные Записки» его новый роман «Подросток». Достоевский обрадовался перемене в отношении к нему Некрасова и, хотя с некоторой опаской, решил дать ему свое детище: он боялся, что его заставят изменить в нем то или другое. Но этого не произошло. Наоборот: по прочтении первой части романа, Некрасов появился у автора, чтобы выразить ему свой восторг.

Над «Братьями Карамазовыми» автор работал три года. Константин Мочульский считает роман синтезом творчества Достоевского. По его мнению, Дмитрий, Иван и Алеша Карамазовы — три аспекта личности Достоевского. «Пылкий и благородный Дмитрий — воплощает романтический период жизни автора; трагическая судьба его, обвинение в отцеубийстве и ссылка в Сибирь — определяется историей невинного преступника Ильянского, и этим связывается с воспоминаниями о годах каторги. Иван, атеист и создатель социальной утопии, отражает эпоху дружбы с Белинским и увлечение атеистическим социализмом. Алеша — символический образ писателя послекаторжного периода, когда в нем произошло «перерождение убеждений», когда он обрел русский народ и русского Христа».

Все это, быть может, и так. Однако критики часто вкладывают в литературное произведение то, о чем сам автор и не помышлял.

Образ Алеши, справедливо замечает Мочульский, остался таким же недоконченным, как и образ князя Мышкина; он раскроется в будущем, предполагал автор: «Главный роман — второй, пишет Достоевский; это — деятельность моего героя уже в наше время. Но второй роман не был написан».

По поводу «Карамазовых», Тхоржевский, в уже упомянутом мною труде своем, сообщает, что Лев Толстой писал Страхову: «Я читал «Братья Карамазовы». Эта повесть лучше всего, что когда-либо было написано в Европе и Америке; если увидите Достоевского, скажите ему, что

я его люблю». Известно ведь также, что после ухода Толстого из «Ясной Поляны» на письменном столе его нашли раскрытый том «Карамазовых». Это была, значит, последняя книга, которую он перечитывал перед смертью.

Трехлетний сын Достоевского, Алеша, умирает от эпилепсии. Это был его любимчик. Имя сына переносится в роман «Братья Карамазовы». В заметках автор называет Алешу сначала идиотом, что явно указывает на родство с Мышкиным.

Начиная с 1874 г. Достоевский каждое лето ездил лечиться в Эмс, где страшно скучал. Но из-за астматического состояния, его врачи предписывали ему пить тамошние целебные воды.

Константин Мочульский высказывает мнение, что, в формальном отношении, рассказ «Вечный муж», быть может, самое совершенное произведение Достоевского. «Тут — экспозиция, завязка, восходящее действие, кульминация, катастрофа, развязка, эпилог. Интересно отметить, что Андре Жид, в своем очерке о Достоевском упоминает, что «Марсель Швоб, тонкий знаток литературы — «Le fin Lettré» считал «Вечного мужа» шедевром Достоевского».

Федор Михайлович знакомится с Победоносцевым, с сочувственным вниманием следившим за «Дневником писателя» и хвалившим помещенные в нем статьи. Дружба Достоевского с этим просвещенным, но до крайности реакционным государственным деятелем с каждым годом становится все теснее. Победоносцев вводит писателя в правительственные круги. Император Александр II поручает ему духовное руководство младшими Великими князьями, Сергеем и Павлом. Познакомившись и с наследником престола, будущим императором Александром III, Достоевский «почтительнейше подносит ему «Бесов» и «Дневник писателя». Он становится постоянным посетителем аристократических салонов: бывает у С. А. Толстой, Е. Нарышкиной, гр. Комаровской, Абаза, Хитрово, еп. Волконской, гр. Гейден. По субботам запросто приходит к Победоносцеву и рассказывает ему содержание «Карамазовых». Закончив роман, он его лично подносит Наследнику. Великая княгиня Мария Федоровна, супруга наследника, присутствует при чтении Достоевского у гр. Менгден. Вскоре после этого, писателя принимают в Аничковом дворце, в котором тогда проживал будущий император Александр III.

В 1879 г. в Россию приезжает Тургенев. Достоевский встречается со своим старым врагом, и внешне между ними наступает примирение. Оба писателя получают приглашение от Общества Любителей Российской словесности выступить с речами после открытия памятника Пушкину в

Москве в июне 1880 г. Несмотря на усиливающуюся болезнь легких и денежные затруднения, Достоевский из Старой Руссы едет в Москву. Еще до открытия памятника, он читает на литературном вечере в зале Благородного собрания сцену Пимена. Пишет жене, что ему говорили, что он читал превосходно, но что мало было слышно. Вызывали его много, пишет он, «но Тургенева, который прескверно прочел, вызывали больше меня». Однако Иван Аксаков сказал ему, что это были клакеры!

7 июня Тургенев произнес на утреннем заседании Общества Любителей Российской словесности очень удачную речь о Пушкине. Он сказал, что Пушкин был «первым русским художником-поэтом»; что «он создал наш поэтический, наш литературный язык». Но назвать его национальным поэтом всемирного значения, как мы называем Шекспира, Гете, Гомера, он не решился.

Что Тургенев не решился назвать Пушкина национально-всемирным поэтом типа Шекспира и Гете, вызвало глубокое раздражение Достоевского. На следующее утро, 8 июня, он в том же Обществе Любителей Российской словесности произнес свою знаменитую речь о Пушкине. Достоевский назвал Пушкина великим русским народным писателем, превосходящим характером своего гения многих всемирно известных иностранных писателей. Он сказал, что «в европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспир, Сервантес, Шиллеры, — но никто из них не мог воплотить в себе с такой силой гений чужого народа, духа его, как Пушкин. И тут он упоминает «Скупого рыцаря», «Дон Жуана» и «Сцену из Фауста». В «Онегине», сказал Достоевский, «в этой бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто». Дав блестящий анализ характеров Татьяны и Онегина, Достоевский поясняет, почему Татьяна не могла пойти за Онегиным. Он говорит, что Пушкин, может быть, даже лучше сделал бы, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно — она главная героиня поэмы. Она — апофеоз русской женщины. И Достоевский добавляет, что «такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. (За эти слова присутствовавший на чтении Тургенев послал Достоевскому воздушный поцелуй).

От Пушкина Достоевский в своей речи перешел к назначению русского человека, считая его «бесспорно всеевропейским и всемирным. Стать настоящим русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите . . . и изречь окончательное слово ве-

ливой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону».

Речь Достоевского произвела громаднейшее впечатление. Когда он заговорил о всемирном единении людей, то зала была, как в истерике: стоял рев, вопль восторга; незнакомые люди обнимали друг друга и клялись быть лучшими, не ненавидеть друг друга, а любить. Раздались крики: «Вы наш святой! Вы гений! Вы больше, чем гений». Какой-то студент в слезах подбежал к оратору и без чувств упал у его ног. Растроганный Тургенев обнимал своего старого врага.

Хоть Достоевский со времени выхода из острога и стал ультра-правым, он почти до самой смерти находился под строжайшим полицейским надзором. Письма его перлюстрировались. Лишь после Пушкинского торжества в 1880 г. его перестали считать подозрительным. Но для этого понадобилось вмешательство Победоносцева и Великих князей.

Припадки эпилепсии по возвращении в Россию стихли, а к 1877 г. сорсем прекратились. В могилу свела Достоевского его болезнь дыхательных путей.

Жить просто, легко ступая по этой земле, Федор Михайлович не мог. На это зато была способна Анна Григорьевна. С 1872 г. она занималась не только всеми хозяйственными делами, но и финансовыми. Она оберегала мужа от всех житейских хлопот. Она постепенно удовлетворила кредиторов, а их, за время проживания Достоевских за границей набралось тьма. Муж передал ей все права на свои сочинения. Анна Григорьевна стала издателем его произведений, и ей удалось превратить их в источник постоянного дохода. Однако, ни в одном из романов, написанных за время их брака, нет женского образа, навеянного ее личностью.

В 60 лет Достоевский был так же ревнив, как и в молодости. Но и так же страстен в проявлении своих чувств.

Письма Федора Михайловича к жене до того переполнены эротизмом, что Анна Григорьевна сочла нужным замазывать в них многие места чернилами, чтобы они не дошли до взоров будущих читателей. Но и то, что она оставила, в полной мере свидетельствует о его повышенной чувственности, не покидавшей его до самой кончины.

Похороны Достоевского превратились в историческое событие: 30.000 человек провожало его гроб; 72 делегации несли венки; 15 хоров участвовали в процессии.

Всего шестьдесят лет прожил Достоевский. В год его смерти Анне Григорьевне было только 35 лет; она тогда не прожила и половины своей жизни. Умерла она в 1918 г. в Крыму, 72 лет от роду.



Перечень источников, которыми я пользовался для этой статьи.

-
- Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений, Государств. Издательство Худож. литературы, Москва, 1958 г.
Ф. М. Достоевский, "Речь о Пушкине", Госуд. Издат. Худож. литературы, Москва, 1958 г.
Ф. М. Достоевский, "Дневник писателя". "Письма".
Л. Ф. Достоевская, Воспоминания.
В. Г. Белинский, Статьи и рецензии. "Письмо к Гоголю". Госуд. Издат. Худож. литературы, Москва, 1948 г.
Н. Н. Страхов, "Воспоминания", Петербург, 1901 г.
А. Я. Панаева, "Воспоминания", Ленинград, 1957 г.
Константин Мочульский, "Достоевский. Жизнь и творчество", Париж, 1947 г.
Марк Слоним, "Три любви Достоевского", Издательство имени Чехова, Нью Йорк, 1953 г.
André Gide, Dostoevsky, Paris, 1929.
А. Милюков, Воспоминания.
Проф. В. Седуро, "По поводу издания в СССР эпистолярного наследия Достоевского", "Современник" № 8, Торонто, 1963 г.
Борис Ганевский, "Последние годы Тургенева", "Современник" № 9, Торонто, 1964 г.

Автор .



Юрий Трубецкой .

ОСЕНЬ .

* * *

Подлая тема опять ускользает,
Я поэмы не дописал.
Ты — Сальери! Про это знают,
Тему ты у друга украл.
До-мажорная кантилена
И наполнена светом сцена,
И Сальери. Впрочем — на зло.
Спрячу карточку под стекло.
За дожди и за одиночество!
За бессмысленное пророчество!
За бокал со стрихнином! За
Тот напиток, в котором слеза!
И скрипач скрипку ломает,
Беглеца уже настигают.
И вообще — я сегодня лгу,
О себе писать не могу.
Моцарт, Моцарт, праздный гуляка,
Как тебя ненавижу я!
Твой двойник, не судьба ль моя?
Я не тем ли отмечен знаком?
И все те же балтийские зори
В ингерманландском просторе.
Что за музыка? И возник
Дирижер. Сам маэстро Григ.
Но при чем тут гуляка праздный
И его клиент безобразный,
В черной маске, в черном плаще
И Сальери. И все вообще?
За дожди и за одиночество,
За ворон картавых пророчества,
За осенние вечера, — в них тьма,
В них от скуки сходишь с ума.

Снова я ломаю мэтры,
Снова северные ветры,
И дожди, и автомобили...
Мы с тобою не договорили,
Собеседник таинственный мой,
Предназначенный мне судьбой.
Ты молчишь. Значит так и надо.
Значит тема осенняя рада
На долгие вечера
Затупить острие пера.

1966 .

Вл. Дитерихс ф.-Дитрихштейн

* * *

Осени воздух душистый, бодрящий,
Солнце скупое простор золотит.
Лист пожелтый сорвался летит.
Сердце сжимается болью щемящей.

Осень томит примиренной печалью,
Ласковой грустью, тоской о былом.
Быль возникает бледнеющим сном,
В душу мне входит поблекнувшей далью !..

—————*—————

ДВЕ ОСЕНИ .

Медно-красный, закатный луч
Угасает осенним сном.
Ветер гонит в обрывках туч
Желтый лист над моим скном . . .
Нет дороги ему назад!
Мир осенний и дик и мглист.
Навсегда он покинул сад,
Уносимый куда-то, лист ! . .
И не та ли судьба моя, —
Вспоминать на закате дней,
Дорогие душе, края,
Слыша шелест родных теней?

12 августа 1965 г.

Николай Щукин .

* * *

Я болен осенней грустью,
Прозрачною, золотистой,
Осенью с ранним хрустом
На тропинке с сухими листьями;
Рябины красными четками,
Золотыми клена узорами,
Гусей вереницами четкими
Над вечерними озерами.
Осенью с льдинками ломкими,
С тихою, светлой тревогою
Пред ползущими потемками,
Пред темнеющею дорогою.

.

Л. Фабрицнус .

СМУТА.

— * —

Глава шестая С УКРАИНЫ НА РУСЬ.

I.

Царь Василий Иоаннович Шуйский не находил себе покоя. Трудные были времена. Поляки сидели в Киеве, в Смоленске, в селах близ Москвы. Молодой родич царя Михайло Скопин-Шуйской, вместе с другом своим свейским военачальником Понтусом де-ла-Гарди, безуспешно воевал с польскими отрядами.

А с запада шли и шли новые полки на Русь.

А царь Василий Иванович не того чаял от своего царевания. Хотел он самодержавно править Русью, а не тут-то было.

Он был царь посаженный боярами и дал боярам «крестоцеловальную запись» —

«... и поволит я царь и великий князь всеа Руси целовать крест на том, что мне великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом с боярами своими, смерти не предать, вотчин, дворов и животов у братии его, у жен и детей не отымать, ежели они с ним в мысли не были, также у гостей и торговых людей, хотя который по суду и сыску дойдет до смертной казни, и посла у их жен и детей лавок и животов не отымать, ежели они с ними в этой вине не виновны.

Да и доводов ложных мне, великому государю, не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи, чтобы в том православное христианство напрасно не гибло, а кто на кого солжет, то сыскав казнить его смотря по вине, которую взвел напрасно.

На том всем что в сей записи писано я царь и великий князь Василий Иванович всеа Руси Великой, Белой и Малой целую крест животворящий всем православным христианам, что мне не жалуя судить истинным праведным судом и без вины ни на кого опалы своей не класть и недругам никого в неправде не подавать и от всякого насильства оберегать . . . »

Наследника прямого у Василия Ивановича не было.

Наследовал ему Михайло Скопин-Шуйской.

Молодец он был из молодцов, любили молодого князя все.

— Тебе бы быть царем и великим князем — говорил ему боярин Салтыков. Тоже ему говорил Понтус де-ла-Гарди.

Князь Михайло любил исчезнувшего Дмитрия Иоанновича и однажды, на ночь глядя, пришел к нему инок-странник, по прозванию Лука.

— Несу тебе весточку, пресветлый боярин. Никого нет в соседстве, в палате? Храни тебя Господь.

— Никого тут нет. Говори, честной инок! —

Инок-странник снял с себя крест, отковырнул ногтем и открылся крест как малый коробок. А оттуда вынул инок грамотку.

— Вот, княже, послание тебе от . . . сам прочитаешь от кого, а мне сказывать не велено.

Боярин-воевода читал грамотку. Потом свернул ее и спрятал. А иноку-страннику сказал:

— Велю накормить тебя, дать все в чем нужду имеешь, а когда думаешь в обратную дорогу?

— Когда повелишь, пресветлый княже.

— Отдохни, погости в моем тереме. Ни в чем нужды иметь не будешь. А тем временем изготовлю я грамоту тому, кто послал тебя. Ведаешь кто послал тебя?

— Не ведаю, княже пресветлый. А если бы и ведал, то не сказал. И под пыткой не вырвали б у меня сего.

— А когда итти — скажу. Звать тебя как?

— Хрещеное имя — Лука. А сам я казак, а иночество мое для прикрытия. Вздед на себя скуфью да подрясник, чтоб дойти до тебя, княже.

— Ладно. Ступай Лука!

Стал ходить Михайло князь по терему вперед и назад — мерить терем шагами. А мысли так и скачут в юношеской го-

лове. Так бы и полетел туда, откуда послание принес этот казак под видом странника-инока.

Да нельзя никак.

Тот, кого он почитал, тот, кому он служил верой и правдой запретил ему Москву и воинство покидать.

А уже день к вечеру подходит. Заснежило на дворе. Звезд не видать. Снежит, и вот, гляди, и буран подымет. А всего листопад на дворе. Рано, рано в этом году зима завернула.

Что ж, придется хоронить грамоту от царя. Не лежит сердце княжее к царю Василию. Видит сн, что царь боярской толщей от всех огражден. Видит, что недолговечен царь Василий.

А неужто ему потом царевать на Руси?

Как же так царевать, когда жив истинный царь. Но знает князь, что вдругорядь не придется Дмитрию Ивановичу на Москву итти, да и пишет он нерадостно.

Хотел было князь посоветоваться с другом своим, с которым стремя в стремя воевал. Да что, поймет ли свейский воевода и можно ли всю правду ему поведать? Видно так, что держать это все в похоронках. Главное, чтобы царь Василий Иванович не проведал. Да время покажет, куда повернуть.



II.

Золотая украинская осень приветно согрела Дмитрия Ивановича. Он век бы не уходил отсюда. Бабка Сидора Валуя по-матерински пестовала его. Старая потеряла мужа где-то на походах, и сын ее Сидор теперь в тяжелое дело вмешался.

Через несколько дней прискакал на хутор сам атаман Карела.

— Челом бью тебе, пресветлый государь! — начал атаман. Но Дмитрий прервал его.

— Нету здесь государя, а есть гонимый странник, коего приютили добрые люди и вот теперь страннику один жребий пал на долю — не то итти искать смерти под чужим именем либо... Но расскажи, атаман, что делается на Москве? —

— Тебя, государь, почитай все считают убиенным. А убили-то Гришку расстригу и прах его в единорог заложили и палили туда, откуда воинство польское пришло.

— А моя жена Марина? — вымолвил Димитрий самую сокровенную думу свою.

Карела усмехнулся в бороду.

— Жена твоя, государь, не в укор тебе будь сказано, нового государя нашла. Обзывает его, как тебя, Дмитрием Иоанновичем, государем российским. Да слышно, что не верят ей, а наш казачишка Ивашка Заруцкой вьется вокруг пани Мнишковой. Поганый этот Заруцкой. Вор, и хитрый, как лисица лесная. Вот такие дела на Москве. А казачество собирается на поляков. Мы им не простим грехов прежних, Киева не простим, выьем из Киева. Да заодно из Москвы. Есть у нас атаманы. И у нас украинцев и у донских братьев. Мы пойдем противу латынцев.

— Мне теперь одно остается: ехать туда, куда говорит Камков, откуда ко мне прислали Василия, из Обдорска.

— Скачи туда, великий государь! Мне ведомо все. Там ты будешь в похоронках до поры, до времени. А приспееет время, вновь объявишься на царстве своем законном.

Дмитрий промолчал.

— Слышно, — продолжал Карела, — новый царь Василий Иванович боится за свое цареванье. Польское войско заливаает, как вода и Украину, и Русь. И кто их знает, чего им надобно, чего они хотят. Мою мужицкую голову одна думка тревожит, что хочет Жигимонт заполнить нас и сам сесть на престол московский.

— Изловили мы одного гусара польского, пытать стали. Молчит собачий сын, гордый как петух. Ну да мои казачки заставят говорить. И заставили. Сказал шляхтич такое слово, что им не нужен истинный царь, как ты, а нужен им кто-то, чтобы побольше смуты затеять, а тем временем войско польское заполонит все земли, а ксендзы их тогда начнут уже приводить всех в веру ихнюю. Вот что сказал шляхтич. И мне сдается, что правда это, что тебе, государь, не гаяти часу и скакать подале.

Недолги были сборы Дмитрия Иоанновича. Сопровождали его самые верные люди: Серега Камков, Вася, бывший послушник, да Сидор Валуй.

Сидор должен был довести до Обдорска и вернуться в свой курень, под начало атамана Карелы.

Собрались поутру, в погожий сентябрьский денек. На путь рассчитали не менее как шесть недель.

Далек Обдорск и ехать надо **окружным** путем, дабы не встретиться с отрядами поляков.

У Сидора везде были свои людишки. Добраться только до лесов, а там есть добрые молодцы с кистенем, да с ножом засапожным. Только свистнет такой молодец — гляди из-за сосен али елей, как в бабкиных сказках, вырастают еще и еще молодцы. И всех Сидор Валуй знает, всех по имени кличет. Да не только по имени, а и по прозвищу. А прозвища гляди совсем не людские, а какие-то не то звериные, не то еще пострахолюднее.

Мерно идут кони, мерно позвякивают наузы. Впереди Сидор Валуй, сзади Серега Камков, а Вася рядом с Дмитрием Иоанновичем.

Помалкивают все. Льет солнышко свое тепло прощальное, осеннее. Шумят сосны, а вверху точно вода переливается — курлыкают журавли. Да летят они не туда, куда путники, а в теплые страны, чтобы через полгода вернуться домой, в знакомые гнезда.

— Стой, стой! Стой, тебе кричу, аль нет!

Человек с десяток, кто с дубьем, кто с пикой казацкой, кто с широким ножом, а кто с топором просто.

— Не замай, Кирило! Едем куда надо! — крикнул Сидор. Но все-таки остановились.

Поговорил Сидор с Кирюхсой и дале уже поскакали не вчетвером, а десятеро. Откуда ни возьмись и коней привели, а вслед за конями и хлеба каравай, а за караваем хлеба добрый кусок дичины — оленины, да фляга с вином. Стало ехать не в пример веселей.

Через день прискакали к бедной деревушке, всего о пяти дворах. А и там уже была готова подстава. Дмитрий Иоаннович диву дался, как это все добро сделано, а Сидор ему рассказал:

— Мы, пресветлый государь, давно уж знали, что не сдобровать тебе. А кроме того, боярина нашего сын, княжич Борис, сказал доставить тебя в монастырь до снега. А княжича нашего кличут здесь «атаман Бориска»: До добрых простых людей душевный он. А теперь польские регименты грабит, да панов по деревьям развешивает, как к примеру яблоки. А жена твоя Марина нехорошее дело сотворила: какого-то пройди-света назвала твоим именем и слышать снова хочет на Москву, на Шуйского итти. А сама — прости государь, — от тебя во чреве несет младеня.

Дмитрий призадумался. Но надо было дальше, дальше, в Обдсрск. Там ждут.

Уже к берегам Камы подоспели путники. Начались осенние дожди и тут пришлось тяжело им. Да догнал их казак с Украины, Стецура.

— Государь великий наш, недобрую весть несу тебе, не гневайся. Убит твой верный воевода князь Михаил Скопин-Шуйской. А его любимый воин-воевода, свейский передает тебе грамотку. Тут видно все прописано, да не по-нашему, а по-иноземному.

Развернул Дмитрий Иоаннович грамотку. Понтус де-ла-Гарди писал ему по-латыни, что измена была и убили молодого князя Михаила свои люди, а сделано было так, будто неприятельский меч, или сабля. А ему, Дмитрию князю московскому, законному государю, венчанному в Москве и вернуться туда и думать нечего. Царь Василий вот-вот скончает живот свой. А на престол московский, уже поговаривают, посадит Сигизмунд сына своего Владислава. А сам де-ла-Гарди в свои края отбывает.

— Вот как дело-то обернулось — вслух сказал Дмитрий Иоаннович. И понял он теперь уже ясно, для чего его учили в краковской коллегии, для чего ему сватали прелестницу Марину.

Опутала тогда она его в Самборе. А любить не любила. Она должна была стать царицей московской, так хотели те, черноризцы из Кракова. Им нужен был сам Дмитрий как царь лишь до поры, а там скинули бы, либо подсыпали чего и все равно был бы Владислав, а через неразумного Владислава, вертуна и слабенького, сам Сигизмунд.

— Спасибо тебе, казак вольный, за службу, за известие. Дмитрий вынул из кисы золотой корабленик.

— Не возьму, государь. Служу тебе не за золото, а за совесть. Тебе золото нужнее, а я всегда добуду себе и золото, и горелки кухоль, и одежду добрую. Вот гляди, каков кунтуш польский! Не хотел лях отдавать, да пришлось. Нехорошо, неладно с ним сделано. А мы вольные казаки служим тебе до смерти. Дмитрий обнял Стецуру, поцеловал его как брата.

Стецура повернул коня обратно на полдень, а Дмитрий Иоаннович с провожатаями на полночь.

Кама вздулась, гребешками белыми покрылась, а сверху моросило. Сидор Валуи поглядел на небо:

— Оно распогодится, Дмитрий Иванович! Не бойся. Сегодня же переедем Каму либо вброд, либо на челнах. А подставы и там, за Камой готовы.

Верно говорил Валуй. После полудня показалось солнышко. Печальная земля лежала перед Дмитрием Иоанновичем.

Далеко, далеко — горы, поросшие соснами и елями, поля суровые, людей не видно, только из-за косогора дымок узенький подымается, не то из избы, не то от костра какого-ни-насть пастуха или странника.

Трава скудная, много камней, могильные курганы. Видно и здесь была сеча.

Видно и здесь шли свои русские отбивать набеги степняков-татарвы. И курганы раскинулись далеко, точно огромные шлемы богатырей в землю ушедших. Совсем по-иному было тогда на Украине.

Но близко уже обдорская земля.

И чем ближе Обдорск, тем более укреплялся Дмитрий в своей думе, в своем намерении.

А намерение было — уйти из этого мира, где суета сует и всяческая суета. Но вспомнилась звезда хвостатая, когда он подступал с войском к Москве. Не счастье она ему сулила, а горе.

А та гадалка в Самборе лгала ему.

А тут нет Вани, князя Хворостинина, нет Михаила, князя Скопина-Шуйского. В могиле княжич Михаил.

И сам он подивился, что не вспоминает Марину, польскую красавицу, смутительницу. Утешилась. И не любила его, а наученая ляхами...

* * *

Ш.

П о с т р и г .

Наконец, и Обдорск. Наконец, и обитель во имя святого Михаила Обдорского. Навстречу вышел игумен о. Евмений.

Дмитрий соскочил с седла и упал на колени, целуя руку благословившего его старика игумена.

— Добро пожаловать в нашу обитель, — сказал о. Евме-

ний после благословения и обнял Дмитрия, как обнимают вернувшегося из дальних странствий сына.

— Ты, Василий, вот и притек в свою обитель! — продолжал игумен также благословив и Васю, и Серегу Камкова, и Сидора Валуя с его провожатыми.

— Я уже знаю твои горести, сын мой! — опять обратился игумен к Дмитрию. — Идем в обитель, келейку тебе приготовим. Отдохнешь, а там видно будет, как дале жить-поживать. А вы, честные воины, все идите тоже к о. келарю, он вас накормит, напоит и всё, в чем человек странный нуждается, даст. Проводи, Васенька, ты здесь ведь свой человек. Да смени свое воинское одеянье, на то, в коем отсюда уходил — подрясничек, скуфейку, лапоточки лыковые. — Вася низко поклонился о .Евмению.

Дмитрий Иоаннович вечером того же дня пришел к отцу игумену.

— Честной отец, думал я, думал, всю дальнюю дорогу думал. И хочу тебе земно поклониться — прими меня к себе в обитель. Сначала на послушанье, а потом, ежели буду достоин, — иноческий чин хочу принять.

— Властью своей, аки игумен, могу без послушанья тебя в иноческий сан привести. Послушанье твое в миру было великое. Было страданье тебе дано и притек ты к обители нашей. Отец твой великий государь Иоанн Васильевич наш род казнил казнию великой. Я один остался, да сын мой. Он в лесах правду ищет, аки тать, но бедных не обижает. А ныне с ляхами воевать будет. Ты иноческий чин примешь, а там видать будет. И иноки за правду воевали.

Чин пострижения совершал иеромонах о. Палладий, самый старейший инок в бедной Обдорской обители.

Тот, кого не так давно митрополит московский Филарет помазал святым елеем на царство, стоял с зажженной свечей на коленях. С зажженными свечами стояли все иноки и послушники обители.

На голову Дмитрия возложили иноческий клобук, а на плечи манатею.

— ...и нарекаю тебе имя Досифей! — возгласил о. Палладий.

Царевича, а потом и царя московского всеа Руси Великой, Белой и Малой не стало. Спасенный от руки убийц чудесно, воспитанный в краковской коллегии Ордена Иисуса Христа, победивший рать Бориса Годунова — стал смиренным иноком Обдорской обители, во имя св. Михаила Обдорского строенной, еще во времена Иоанна Третьего.

Вася стал келейником нового инока. Время пострижения ему еще не приспело. Серега Камков, Сидор Валуи попращались с о. Досифеем и отравились в дальний путь.

А дальний путь был уже по снегу. Да по льду рек великих и малых.

А в городке Тушине объявился новый «Дмитрий Иоаннович» — бродяга, шелопут. А всякий, меж двор шатучий люд, примкнул к нему. Орал, пили брагу и зелено вино. При новом Дмитрии состоял польский посланец, пан Флориан Згурский. Марина как законная жена его, московская царица тут же обреталась, однако бродяга и шелопут — которого поляки называли презрительно «царик» — не смел даже и показываться к ней на глаза.

Марине был осказано свыше: — хранить себя, так как ребенок будет истинный московский царь. А этот тушинский побродяжка пока как некое пугало для темного люда.

Побродяжка ежевечерне напивался, наедался, вздевал парчевый кафтан и грозил Василию царю, грозил даже Сигизмунду.

Поляки смеялись.

Поляки шли уже сомкнутыми региментами всюду, где их и не ждали.

Русь обнищавшая, погорелая, исчадьем адовым оскубанная ждала и стонала.

А по неоглядным просторам шли крылатые легионы польские — покорять под ноги его величества короля Польши Сигизмунда новые земли.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.





Евгения Мор

СЧАСТЬЕ МАТЕРИ .



Качается колокол в вышине . . .
Он звонит для Тебя, Мария,
Он звучит и поет и звенит о весне
Чудесную песню, Мария.
Облакам и звездам дано звучать
В общем хоре Тебе, Блаженная Мать,
Про Твое Дитя, Мария!
Золотые звезды склоняются ниц,
Славословя Тебя, Мария,
Для Тебя облака в сиянье зарниц
Покрывало соткали, Мария,
И в предутренних росах-слезинках блестя
Улыбаясь дремлет Твое Дитя, —
Ты счастливая Мать, Мария!
Качается колокол . . . Долго звучит . . .
Видишь тень звонаря, Мария?
Ты так робко вздыхаешь, а сердце скорбит . . .
Крест воздвигнут высоко, Мария . . .
О, взгляни в небеса, Ты святая средь жен.
Там в звездах еще выше светильник зажжен
Над Твоим Младенцем, Мария ! . .



ТВОЙ АНГЕЛ - ХРАНИТЕЛЬ .

*

В ночной тишине, перед сном, на мгновенье,
Пока я не замер еще, не застыл,
Я чувствую легкое прикосновенье
Чьих-то невидимых крыл.

Быть может, слетая с невидимой дали,
Твой Ангел-Хранитель, пылая в огне,
Как друг надо мною склонился в печали
И шепчет таинственно мне.

«В селениях мертвых теней, и на грани
Созвездий небесных, в туманном бреду,
Ты все еще ищешь в горячем сияньи
Ту синюю в небе звезду,

Ту Землю, где ты — ведь все это было!
И, может быть, в вечности сбудется вновь —
Когда-то, кого-то так нежно любила,
И чья еще греет любовь.

1948 .

Георгий Евангулов .

* * *

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Был пасмурный, осенний день. Надвигались тучи. Казалось, что накрапывает дождь, но дождя не было.

Какие-то мальчишки, с гамом, толпой двигались по тротуару: молодежь на погоду не обращает внимания. Люди постарше шли и думали о том, что надо было надеть непромокаемый плащ, а нищий старик, стоя у метро, ежился и дрожал, будто от дождя промок насквозь.

Лавки и кафе с утра были освещены, но в них от этого не прибавлялось посетителей и они сияли пустотой.

Из кафе, над которым красовалась огромных размеров красная сигара, вышел господин среднего роста в плаще хорошего покроя, в золотых очках — метнулась искра и погасла.

В двух шагах от него шел человек бедно и неряшливо одетый, небритый, без галстука. Они столкнулись.

Господин в золотых очках неожиданно воскликнул: «Петр Петрович, вы ли? Сколько лет, сколько зим! И в самом деле, я вечность не видел вас, так закрутился в своих делах, был много раз в отъезде, вот только что вернулся из Швейцарии, чудесная страна! Боже мой, как приятно встретить старого друга — какая счастливая случайность!»

Небритый человек открыл было рот, чтобы сказать, что он совсем не Петр Петрович и происходит недоразумение, но фонтан красноречия встречного закрыл ему рот и он решил покориться своей судьбе, тем более, что голова его в этот день плохо соображала, к тому же, был он робок по своей натуре.

— «Скажите, дорогой, как ваша красавица-супругаживает? А сами вы? Все продолжаете успешно заниматься переводами? Завидую, завидую вашему знанию языков, я слаб в этой области, всегда приходится прибегать к переводчикам, не всегда это бывает удобно. Сами понимаете, в делах!..

Моя Варвара Ивановна все дома сидит и хозяйничает, а я вот ношусь как мотылек. Ха, ха, ха!.. Не подумайте плохого, все дела, одни дела! Зато не жалею — живется хорошо, да и вам ведь жаловаться тоже не приходится. Жена просто чудо! И где вы нашли такое сокровище, притом добра, скромна, милейшая, милейшая Полина Алексеевна! Я с Варварой Ивановной к вам в гости приду, обязательно. Полагаю, что вы все на той же квартире? Нагрянем! Вспомним старое, разопьем бутылочку...» — он чмокнул губами: «Люблю!» и вдруг спохватился: «Батюшки, бежать нужно, свидание деловое, экая досада, а то бы с вами в кафе, и по коньячку!» Тень упала на его лицо, он поднес руку к глазам и понижая голос проговорил: «Вот только беда одна: плохо видеть стал, совсем плохо, утешают, говорят хуже не будет, очки надел, мало помогает».

Схватив руку воображаемого приятеля, он крепко пожимал ее своими руками, мягкими и теплыми.

Человек небритый, почти босяцкого вида, стошел, ступая неуверенной походкой, еще больше насупив свои густые, растрепанные брови. Глаза его были красны, был он ненормально худ, высокого роста, с большой шевелюрой. Пройдя несколько шагов, он остановился, повернулся, посмотрел туда, где скрылся незнакомец и вдруг как-то сразу, в его голове все прояснилось и он окончательно пришел в себя от хмеля.

В этот день им выпито было не мало красного вина, он потерял счет стаканам и денег у него уже не оставалось ни копейки.

Он был мойщиком стекол, и эта работа приелась ему. Малообщительный, до крайности самолюбивый и потому одинокий, он влачил свое существование нехотя, поневоле. Работу свою свел до минимума, а заработок пропивал, жил впроголодь на чердаке с узким, точно тюремным, окном. Образование все-таки кое-какое он получил. Когда-то даже преуспевал в математике, но ни к чему это его не привело и не оказалось нужным, здесь, в чужой стране, за границей. Он решил на все махнуть рукой. Поставил крест. Стал пить. Опустился.

Теперь он пришел в себя и память почему-то ему отразила разговор незнакомца. Он еще слышал звук его голоса, каждую фразу, каждое слово, он чувствовал пожатие мягких рук и был взволнован. Вот человек — думал он — с положением, которое быть может создал сам! Как начинал?

Нуждался ли? Кто знает? Так сразу деньги не даются. Ведь эмигрант такой же, как и я. И принял меня за друга своего, женатого, обеспеченного. Не имел я удачи ни в чем. Мечтал о жене, о семейной жизни. Почему же так вышло? В ком, в чем вина? Почему эта милейшая Полина Алексеевна не моя жена, да, не моя! Правда, почему? Мог ли бы я изменить жизнь свою и это, для меня ненавистное, мытье стекол?

Быть может, не сумел устроиться по своей вине, — дичился людей, гордился, боялся отказа, унижения. Кто же мог, кроме меня самого, знать что мне надо и чем бы я мог заняться? Сколько лет потрачено зря!

Неужели в самом деле, я сам виновен в этом? Неужели могло быть по иному?

.....

Рано утром человек, мстующий стекла побрился, вымылся, даже затянул ниткой рваный рукав, и пошел искать работу. Направился он в небольшое кафе, ему хорошо знакомое, чтобы предложить свои услуги по мытью стекол.

Работу ему дали сразу, ибо витрины явно нуждались в чистке.

Хозяин, человек средних лет, с веселым лицом, угостил его стаканом хорошего вина.

— «Ну как, М-р Жан? Живем?»

— «Живем», — ответил он и добавил: «хочу переменить специальность, надоела она мне».

— «По какой части?» — спросил хозяин.

— «Еще не знаю, не решил».

— «Что умеете делать? Считать?»

— «Да, считать умею и хорошо считаю».

— «Вот как! Может быть пожелаете быть кассиром?»

— «О, да, конечно, но это вероятно очень трудно найти?»

— «Ну, так вот что, милейший, беру вас на пробу к себе.

Согласны?»

— «Еще бы!»

— «Приходите завтра утром в 8 часов. Но только приходите вовремя. Это не для забавы, — прибавил он шутливо, протягивая ему руку.

— «Но как же? В таком виде?» — он показал на свою ветхую одежду и тотчас испугался сказанного им, растерялся, закашлялся.

«Я вам дам костюм, свой, старый, но еще годный, а вы мне его отработаете. Даром я ничего не даю. Я не благотворитель и не люблю попрошаек».

.

14-го ноября, во вторник, Иван Павлович Синицын стал кассиром.

Он оказался вполне подходящим.

Быстро освоился с нехитрой счетной машиной, быстро считал и это занятие ему нравилось.

Благодаря приличному воспитанию, которое он когда-то получил, — сумел расположить к себе хозяйку, болезненную женщину, с довольно сварливым характером, и гарсона — безобидного старика с бородавками на лице.

Работал он добросовестно и жалование получал настолько приличное, что в скором времени мог себе купить новый костюм. Иван Павлович стал неузнаваем — поправился, выпрямился и вид у него был весьма представительный.

Каким образом все это произошло и так скоро? — думал он. Удивлялся, недоумевал.

Чувство у него было такое, будто он вновь родился и начинает жить. Казалось ему, что еще произойдет с ним нечто неожиданное и хорошее, в чем он и не ошибся. Предчувствие его было оправдано.

Стала в кафе заходить девушка, вероятно служащая, приносила с собой завтрак, садилась за столик и заказывала кофе с молоком.

Девушка была не первой молодости, но миловидная, держала себя скромно и этим понравилась Ивану Павловичу. Он не любил развязных женщин и современных девиц с вызывающим видом.

Один раз он сам принес ей чашку кофе. В другой раз перекинулся словом и так, слово-за слово, они разговорились и друг другу понравились. Не откладывая надолго, они решили сочетаться браком.

Хозяин Ивана Павловича нашел для молодоженов подходящее помещение и Иван Павлович с поспешностью и радостью покинул свой чердак.

Прошлое было вычеркнуто из его жизни, он больше не хотел вспоминать о нем.

Праздновали это счастливое событие, по очереди угощая

друг друга, и в знак своей признательности Иван Павлович подарил хозяевам кафе большие настенные часы, которых у них не было, а гарсону шелковый галстук.

Теперь уже он больше ни о чем не мечтал и был вполне счастлив.

Кристина была доброй женой и хорошей хозяйкой, жили они дружно, несмотря на различную национальность и возраст, — он был значительно старше своей жены, но молодой и благообразен. Она его понимала по-своему, по себе, а к тому, что в нем для нее казалось непонятным, относилась снисходительно, приписывая это русской натуре — «ам слав».

Он не походил на тех мужчин, с которыми ей приходилось встречаться — с ними было проще, яснее, она вперед знала, чего они хотят и о чем думают.

Ивана Павловича она полюбила за то, что он женился на ней, соединился с ней законным браком, не только гражданским, но даже в церкви его веры, где так чудно поют.

Однажды вечером дверь в кафе отворилась и вошел господин среднего роста в золотых очках, которого Иван Павлович сразу узнал. Молодой человек, похожий на него (вероятно сын) вел его под руку. Господин в золотых очках был слеп. Он неуверенно ступал, несмотря на поддержку сына и белую палку. Иван Павлович не спуская с него глаз, как пригвожденный к месту замер, затаив дух.

Махнув салфеткой, гарсон подошел к столику, принимать заказ. Иван Павлович продолжал, не отрываясь, смотреть на слепого, не пропуская ни одного его движения: как он рукой ощупывал чашку, как низко наклонял голову, чтобы ее не разлить, как пил и как беспомощно засуетился, доставая бумажник и протягивая его куда-то в пустоту.

Иван Павлович отвернулся, глаза его наполнились влагой, он достал носовой платок и, спрятавшись за кассой, — сморкался.

В это время вошла его жена, Кристина.

Он тихо подозвал ее.

— «Что с тобой, милый, почему ты так взволнован?»

Не отвечая ей, он сказал: — «Посмотри на этого господина, слепого, и скажи, какое впечатление он производит на тебя?»

Она ответила, что ничего особенного в нем не находит, но что ужасное несчастье быть слепым.

— «Я хочу, чтобы ты знала» — сказал Иван Павлович, — «что он принес мне любовь и счастье».

— «Как это возможно, мой милый, ты его не знаешь, он никогда здесь не бывал и я тоже в первый раз вижу его».

Иван Павлович никогда не рассказывал ей о своем неудачном прошлом. Человек не любит вспоминать о своей слабости вообще, и особенно мужчина перед женщиной всегда скрывает свои недостатки и поражения:

— «Да, конечно», — сказал он: — «но это ничего не значит, поверь мне на слово, моя дорогая Кристина».

Но Кристина, конечно, ему не поверила. Она улыбнулась, поцеловала его в щеку: — «Какое это имеет значение, мой милый? Кстати, надеюсь, ты не забыл взять билет в синема?»

— «Нет, не забыл», — пробормотал он и, переведя глаза на господина в золотых очках, повторил громко: — «Не забыл. Я ничего не забываю. Ничего не забыл».



* * *

Рассыпал подень зной миражный
И мреет, серебрится даль,
И на песке, упруго-влажном,
Ракушек нежная спираль.

В прибой белоснежной гриве
Полощет крылья корморан
И, зорко высмотрев поживу,
Ныряют чайки в океан.

Вздымая веер брызг соленых
И расплескав везде ручьи,
Вздыхает океан зеленый,
Зеленый . . . как глаза твои.

Австралия .

Клавдия Петрово .



НЕОЖИДАННАЯ МЕСТЬ

Тихий рукав Днепра тонет в зелени прибрежных ив. Набежавший порыв ветерка, легко качнув ветви, водит ими, как кисточками, по зеркальной поверхности реки, спугивая мирно притаившихся водяных пауков. Пауки, подпрыгивая на своих длинных неуклюжих ногах, разбегаются в разные стороны. Посредине, там где глубоко, отбивается нетронутая лазурь неба, но у самых берегов, словно на спокойном пруду, растет осока и водяные лилии открывают свои белые, точно восковые, розетки. Ни пароходы, ни даже катера с главного русла никогда не заезжали в рукав, только иногда влюбленные пары, ища уединения и скрывая от людей тайны своей любви, посещали на лодке его золотистую узкую песчаную косу.

Но война не пощадила даже и этот укромный уголок. Хотя фронт был еще довольно далеко, неожиданные взрывы потрясли окрестности, сгоняя птиц с их насиженных мест. Крылатые, удивленные и возмущенные вмешательством человека в их царство, с криком кружились над речным рукавом, где специальная команда взрывала суда, чтобы они не попали в руки противника. Взорванные суда кренились на бок, некоторые загорались и шли ко дну, и вода у их бортов пенилась, пузырилась, словно кипела.

Вскоре немецкая армия, стремительно подвигаясь на восток, захватила Приднепровье. Новые хозяева старались силой вырвать из объятий Днепра потопленные сокровища, — в глубину вод спускались водолазы. Мелкие суда поднимались кранами, а более крупные сжатым воздухом, нагнетаемым в их трюмы, или же при помощи двух барж, поставленных с обеих сторон утонувшего корабля, и прилаженных к ним тросов.

В тихий рукав зашло и стало на якорь удивительного вида судно. Оно было оснащено с носа до кормы разного рода техническими приборами и приспособлениями, среди которых главное место занимали мощные краны, лебедки и аппараты

для сжатия воздуха. На его борту находились также понтоны. Этот корабль одновременно служил местом жительства несколькими чинами немецкой команды. Работами руководил Хэrr Эрих Фогель, вертлявый, молодо выглядевший в свои пятьдесят лет, трудолюбивый водолаз. С ним была его двадцатидвухлетняя белокурая дочь Йоханна, медицинская сестра по профессии, которая, кроме работы по своей специальности, выполняла обязанности бухгалтера и заведовала всем хозяйством судна. Хэrr Фогель, довольно часто передвигаясь по реке, не имел из местного населения постоянных рабочих, а набирал их из крестьян ближних сел. Только два молодых водолаза-украинца путешествовали с ним повсюду, и для них была даже отведена на немецком корабле маленькая каморка. Это были — чернобровый, смуглый и стройный красавец Иван и круглолицый, кудрявый Юрий. Молодые люди, дружившие еще со школьной скамьи, все свое свободное время проводили вместе. Юрий же, родителей которого эвакуировали за Урал, в долгожданные, но редкие выходные дни ездил с Иваном проводить его мать, если подъемные работы шли недалеко от их родного города.

* * *

Был обеденный перерыв. Солнце жарко блестело в небе, рассыпаясь по волнам реки мелкой чешуей. Пахло привядшей травой и вареной кукурузой. Рабочие, в большинстве послурядные, сидели под развесистой ивой вокруг самодельной печурки, на которой дымился большой котел. Кукурузу густо солили и аккуратно съедали до последнего зернышка, сам же початок разжевывали и высасывали из него сладкую питательную жидкость.

Иван и Юрий, на которых были лишь купальные трусы, уже окончив трапезу, приютились в сторонке на солнышке.

— Ты думаешь, Фогель будет поднимать все суда из этого рукава? — лениво спросил Юрий.

— Пока он заинтересован только теплоходом, — ответил Иван, — хотя теплоход совершенно обгорел, один остов остался. Но, как видно, немцам нужны большие корабли.

— Говорят, здесь теплоход «Молотов» потопили, — громадина, краса Днепра, — заметил Юрий.

— Возможно это и есть «Молотов», скоро увидим.

— Говорят также, что из нашего горсда все радиоприем-

ники, которые в первые дни войны было приказано сдать, тоже где-то на дне покоятся.

Иван ничего не ответил; он лежал на траве на живсте и наблюдал прищуренными глазами, как пчелка вилась возле случайно выросшего здесь у реки полевого голубенького колокольчика, готовясь достать из него нектар. И, наверное, вид приветливо жужжащей, неутомимой, даже в горячий летний день, труженицы-пчелки перенес его мысли к другим дням, более счастливым и мирным.

«А, возможно, Оксана каким-то чудом осталась в живых», подумал он. И перед ним ясно предстал, словно выплыл из Днепровских вод, образ его невесты, голубоглазой бойкой Оксаны с губками сердечком и с ямочками при улыбке на щеках. Ему вдруг вспомнился последний вечер с ней, когда они прощались у ее дома. Калитка оказалась запертой, и он, перепрыгнув через забор, открыл французский замок.

— За проход через ворота — выкуп, — объявил он и, желая ее поцеловать, схватил в свои объятия, но, почувствовав на ее щеке слезу, тревожно посмотрел в девичье лицо. Луна и звезды, казалось, переливались в этих прозрачных каплях, повисших на ресницах. Он понимал ее, — отец и брат уже ушли на фронт, а теперь вот и его забрали. Он нежно привлек к себе небольшое гибкое девичье тело. Нужно было прощаться, так как завтра на рассвете его часть уходила, но он не мог. Даже когда отрывисто и страшно загудела сирена тревоги, небо пронзили острые колья прожекторов и загрохотала зенитка, они продолжали стоять прижавшись друг к другу, как будто грома выстрелов и вспышки орудий совсем не относились к ним. К счастью, это оказалась только вражеская разведка, и бомбы не были сброшены. Скоро последовал отбой, и тогда он, наконец, оторвался от любимой девушки. Но, едва он отошел на несколько шагов, она позвала его назад. Он вернулся, — Оксана взяла его руку, и он почувствовал, как она надела ему свое колечко, пришедшееся ему только на мизинец. Он знал это колечко с маленьким бриллиантиком, единственную ценность семьи, случайно уцелевшую от торгсина в голодные годы. Мать подарила его Оксане в день юбилея девушки десятилетки.

— Пусть оно будет ручательством, что ты с ним возвратишься ко мне, — сказала девушка.

Как тщательно прятал он это кольцо во время своего пребывания в плену... и, как бы для проверки, а больше

уже по привычке Иван пошевелил рукой, — кольцо было на месте.

— А, возможно, Оксана каким-то чудом осталась в живых, — неожиданно сам для себя вслух повторил он.

Юрий, знавший девушку, как и Иван, с самого детства, в знак сочувствия положил руку на плечо друга. Но что он мог сказать в утешение? — Оксану с ее матерью эвакуировали, их эшелон был разбомблен и очевидцы утверждали, что они погибли.

— А вон и Йоханна едет, совершив свое каждодневное обещание, — проговорил он больше для того, чтобы отвлечь своего друга от грустных размышлений. Иван приподнялся на локоть, — Йоханна в черном купальном костюме и в белой косынке вокруг головы, медленно перебирая веслами, плыла от песчаной косы по направлению к ним.

Два друга встречались с ней на борту корабля, но, несмотря на то, что уже могли довольно прилично изъясняться по-немецки, никогда не вступали с ней в разговор. Утром, как правило, эта миловидная, беленькая немка появлялась в широком цветистом халате на носу корабля, откуда кормила хлебными крошками стайки рыбок. Потом ее видели в кают-бюро, склоненной над какими-то счетами. За час до обеда в хорошую погоду она ехала на лодке, с папильотками в волосах, купаться на косу. Но, возвратившись, превращалась в настоящую даму, в роли которой и оставалась до конца дня, — ее волосы мягкой волной спадали к плечам, она носила всегда удобные для жизни на судне платья и юбки в сборку и в особых случаях от нее несло приятным одеколоном.

Йоханна подъехала к парням и улыбнулась им приветливо, показав им свои крупные, не совсем прямые зубы.

— Ви гейт'с? Как поживаете? — спросила она.

— Данкэ шэн, — за себя и Ивана ответил Юрий. — Торопитесь на обед, иначе вам ничего не оставят, — пошутил он, указывая на судно, откуда иногда долетал запах жареного мяса, так настойчиво дразнящий аппетит. А Йоханна уже удалялась от них, все еще улыбаясь.

— Ты ей нравишься, — заметил Юрий.

— Я?! Да что ты! — удивился Иван, немного смутившись, так как знал, что его друг действительно говорил правду. Он сам не раз замечал, как голубые, похожие на эмалированные пуговицы, глаза девушки внимательно изучали его, когда он не смотрел в ее сторону.

— Она тебе нравится?.. Как женщина? — не унимался Юрий, глядя испытующе в лицо друга.

— Я никогда не рассматривал ее как женщину.

— Советую тебе держаться от нее подальше, — предупредил озабоченно Юрий, понизив голос. — Она, вижу, стреляет прямо в цель, а запутаешься с ней, — беда будет. Ведь у них такой закон, — если иностранца разоблачат в связи с немкой, его, как преступника, могут расстрелять или в концентрационный лагерь упрятать, так как их «высшая раса» не должна смешиваться с нами «унтерменшами».

— Об этом ты не беспокойся, — заявил Иван. Он поднялся, потянулся во весь рост своим мускулистым загорелым телом и с разбега прыгнул в воду; за ним последовал Юрий. Обеденный час окончился и нужно было возвращаться на корабль.

Через полчаса Иван стоял на палубе в водолазном костюме, напоминая своим огромным шлемом с круглыми стеклами пришельца из какого-то неведомого звездного мира. Он еще раз поднял руку в знак приветствия своему другу Юрию, который на катере с двумя немцами уезжал на поиски других потопленных судов, место нахождения которых было обозначено крестиками на особой карте Фогеля. Катер скоро повернул в главное русло и скрылся из виду.

— Готово! — крикнул рабочий у аппарата, и Иван, дошедши к борту, стал спускаться по лестнице. Это была последняя проверка установок в глубине, прежде чем начать подъем теплохода. Водолаз исчез под водой. Фогель суетился среди рабочих, давая им указания, и курил папиросу за папиросой.

Прошло минут тридцать. Аппаратчик, все это время не сводивший взгляда со шкалы, заволновался.

— Хэрт Фогель! — позвал он, — воздух перестал поступать свободно через шланг. — Немец бросил окурки в воду и подошел к аппарату; он начал внимательно наблюдать за движущейся стрелкой шкалы: Фогель дернул условленно за веревку, скрывающуюся вместе с шлангом для воздуха под водой. Ответа из глубины не последовало.

— Вытягивай! — скомандовал он, но его приказание невозможно было выполнить: что-то внизу прочно держало водолаза.

— Давай акваланг, — и Фогель, натянув на спину пешню бачок с кислородом и взяв с собой топор и проволоку,

бросился в реку. Все присутствующие остановили работу, следя напряженно за поверхностью воды. Время шло, — одна, две, три, четыре минуты . . . Фогель, наконец, вынырнул возле корабля.

— Тяни! Тяни! — закричал он. Сам он продолжал энергично действовать в спасательных работах, но резинового скафандра на уже вытасченном на палубу водолазе не разрешил в целях экономии резать. Прошло еще несколько минут, пока обвисшее и посиневшее тело Ивана было извлечено наружу. Над ним хлопотала уже поспевшая одеться и причесться после своего недавнего купания Йоханна со своей аптечкой. Нагнувшись над ним, она усердно старалась найти пульс пострадавшего и делала ему в ногу впрыскивание, в то время как ее отец применял искусственное дыхание. Фогель работал усердно и ритмично, но слишком быстро на взгляд Йоханны, и девушка, шагнув к нему, что-то тихо ему сказала. Фогель остановился, поднялся и, отошедши в сторону, начал свой рассказ о том, с каким трудом ему удалось освободить водолаза от обрушившейся на него части тяжелой конструкции корабля. Йоханна, сразу же заняв место отца, продолжала применять искусственное дыхание. Ее полные беспокойства глаза ни на минуту не оставляли лица пострадавшего. И случилось чудо, — водолаз приоткрыл веки и с удивлением посмотрел на склонившуюся над ним девушку. Только тогда Йоханна остановила свое утомительное занятие. Иван слабо ей улыбнулся и все присутствующие с облегчением вздохнули.

Вечером, поднявшись с постели, Иван в коридоре встретил Йоханну возле ее кабины. На ней было белое платье в голубой горошек и комнатные туфли.

— Фройляйн Йоханна, — обратился он к ней, — я благодарен вам за то, что вы сегодня спасли мне жизнь, — он с признательностью посмотрел ей в глаза и протянул ей руку.

— Будем друзьями, — пожала она его руку.

— Будем друзьями, — повторил он.

— В таком случае мы должны отпраздновать заключение нашей дружбы. Пойдемте ко мне.

Она открыла свою дверь и, так как Иван все еще стоял в нерешительности, потянула его за собой. В кабине с примитивным туалетным столиком и белой постелью, над которой висел небольшой портрет фюрера, тускло горела элек-

трическая лампочка. Здесь, казалось, даже железные стены издавали нежный аромат ее любимого одеколона.

— Дас ист фэрботэн, — сказала она, — никто не должен знать, что ты здесь, — перешла она сразу на «ты», повернув в дверях ключ и, достав из шкафчика бутылку коньяка, наполнила две рюмки.

Через завешенное окно из прибрежных зарослей в кабину проник пронзительный крик совы, а из ближайшего села доносилась песня. Многочисленные женские молодые голоса заглушали несколько мужских. По мотиву Иван узнавал слова песни:

«Стэлыся, барвинеку, нызько-нызенько;
Прысунься, козачэ, блызько-блызенько . . . »

И сразу же, подобно эху, полилась с противоположной стороны рукава тягучая заунывная мелодия другой замечательной песни, и вечер словно наполнился звоном переключющихся колокольчиков.

Рюмка коньяку после столь утомительного дня и возвращения с полпути в более лучший мир быстро вскружила голову Ивану, и он не отскочил от себя этих белых мягких рук, которые сегодня спасли его жизнь, а, наоборот, притянул к себе девушку и поцеловал ее в губы . . .

* * *

Последующие недели молодые люди встречались регулярно в кабине девушки, но эти встречи носили строго секретный характер. Никто пока ничего не замечал. Команда корабля была всецело занята подъемом теплохода. Если даже у кого-либо и возникали подозрения об отношениях между молодыми людьми, они разбивались тотчас о холодную вежливость Йоханны, с которой она обращалась на людях к украинцу-водолазу. Только от Юрия нельзя было скрыть тайну. Юрий теперь часто ложился спать не дождавшись друга. Не было больше вечерних уютных часов с воспоминаниями о шалостях детства, школьных днях и приключениях юности, наполненных веселым смехом и искренностью.

Однажды Иван получил из дому записку, — всего три слова: «Приезжай немедленно. Мать».

Подъемные работы приходили к концу и обгоревший ос-

тов теплохода, как почерневший скелет какого-то огромного чудовища, торчал уже над поверхностью воды. Его приготавливали для отправки на верфи. Фогель удовлетворил просьбу Ивана, работавшего несколько недель без выходных, и отпустил его на два дня в город.

Мать Ивана, высокая и смуглая, как он, встретила его под вишней у калитки.

— Ты больна? — спросил он, заботливо глядя в увядшее, но еще красивое лицо матери и целуя ее.

— Я здорова, как никогда, — улыбнулась она и своей юной походкой пошла рядом с ним по дорожке.

— А я беспокоился, — ты меня экстренно звала домой... — он не окончил своей мысли, так как из дому вдруг легкая, как мотылек, в светлом платье выпорхнула девушка. Он смотрел на нее и не верил своим глазам: перед ним стояла его славная, любимая Оксана. И он осторожно, словно это была фарфоровая кукла, взял в свои ладони ее пылающее от волнения, пахнущее солнцем, степью и классной скамьей лицо.

— Я чувствовал, что ты жива, дорогая, — шептал он в упоении.

А она отыскала на его руке колечко.

— Видишь, я получила его назад с самыми громадными процентами... — и заплакала от счастья.

А позже она рассказывала о своей трагедии, — смерти матери при налете вражеских самолетов на их эшелон, о том, что немцы ее настигли за Ростовом и ей, оставшейся совершенно без средств понадобилось долгое время для возвращения в родной город, где она не нашла никого из родных.

Перед обедом, когда Оксана вышла в огород за свежими огурцами, мать обратилась к сыну:

— Для девушки некрасиво жить в семье жениха, — сказала она. — Люди начнут оговаривать. Нужно как-то все устроить.

И они с Оксаной решили в следующий его приезд оформить брак.

* * *

Иван возвращался на корабль в крестьянской подводе с сердцем переполненным счастьем. Только одна единственная мысль, как туча на безоблачном небе, иногда печалила его приподнятое настроение. Это была мысль о Йоханне, образ

которой больше не сливался с Оксаной, а как-то сразу потускнел и отошел далеко, далеко, словно покрылся туманом. «Необходимо с ней сегодня же переговорить», — решил он.

Еще не оправившись от продолжительной дорожной тряски и пропитанный степным запахом полыни, добрался он до судна, возле которого стоял незнакомый ему катер с развевающимся военным флагом с черной свастикой на белом фоне.

Йоханну он встретил на палубе, она улыбнулась ему. Золотистые лучи заходящего солнца играли в ее волосах. На девушке было светло-желтое платье с кружевными вставками и белые туфли на венских каблуках. Она в этот вечер была особенно хороша.

— Либлинг, приходи сегодня в десять часов, — шепнула она ему.

— А гости? — указал он на катер.

— Старые знакомые отца. Будут резаться в карты.

— В десять, — утвердительно кивнул он головой.

Юрия он не застал дома и вспомнил, что его друг был приглашен в село одним из рабочих на крестины ребенка. Иван сожалел, что ему не с кем поделиться своей радостной новостью об Оксане.

В назначенный час Йоханна ждала его. Она сидела на кровати и старательно опиливала маленьким напильничком ноготь. Когда Иван вошел, она встала и мягкими шагами, как кошка, поспешила к нему, но вдруг остановилась. Она своей женской интуицией почуяла что-то недоброе, заметив в лице или в сияющих глазах своего гостя какую-то перемену. Так они стояли несколько мгновений, смотря пристально друг другу в глаза.

— Оксана?.. — наконец спросила она.

— Да, Оксана, — ответил он и рассказал ей все, что произошло дома, и сразу почувствовал облегчение.

Она молчала.

— Мы с ней скоро поженимся, — заявил он.

Йоханна продолжала молчать, только ее глаза заметно потемнели.

— Но это не мешает быть нам друзьями, — сказал он. — Останемся друзьями. — Он протянул ей руку. И тогда случилось что-то совсем непредвиденное, ужасное, — Йоханна, отскочив от него, отбежала к своей кровати; она стала неистово рвать на себе новое платье и звать на помощь. У Ивана, как молния, промелькнула мысль, что корабль наводнен немца-

ми, и он, бросившись на Иоханну, крепко рукой зажал ей рот, но, потеряв равновесие, повалился с ней на постель.

— Молчи, молчи... — молил он. Дверь в кабину распахнулась, но он не успел встать на ноги, так как сильный удар по голове ослепил его. Он пришел в себя только в тесной и темной каюте без окна. Голова болела, а дверь оказалась запертой.

Утром его вели к катеру со связанными руками. Фогель провожал своих гостей. С ним старался заговорить Юрий, возвратившийся из села. Но Фогель прикрикнул на него и велел молчать. Иоханна совсем не показалась на палубе, но она долго из окна своей кабины провожала взглядом удалявшийся катер. И никто не знает, — шептала ли она «прости», как царица Тамара из Дарьяльского ущелья своим жертвам, или просто, подстрекаемая любопытством, смотрела на финальную сцену своего очередного романа.



Зинаида Ковалевская .

* * *

Милый дом в стране воспоминаний —
Этажерки, вазы, безделушки,
На широком бархатном диване
По канве расшитые подушки.

Все до каждой мелочи знакомо —
Ноты на раскрытом пианино,
И зеркальный столик, и альбомы,
И часы на выступе камина.

Свежи листья комнатных растений,
Несмотря на пять десятилетий
И печально бродят наши тени
В тех стенах, которых нет на свете.



ГРИГОРИЯ КЛИМОВ.

БРАТЯ

(Первая глава романа "Имя мое Легион". Главы вторая и третья были опубликованы в журнале "Возрождение" в Париже в 1965 г.).

I.

Когда Максим был ребенком, а это было еще до революции, перед сном мать заставляла его молиться Богу. Максим безразлично бормотал под нос «Отче наш», а потом обращался к Богу с личной просьбой:

— Боженька, пожалуйста, сделай меня большим и сильным. А то вчера Петька опять поймал меня на соседском дворе и побил. Сделай так, чтобы я мог побить всех. Так, чтоб одной левой рукой, одним мизинчиком.

Эту просьбу он повторял после каждой мальчишеской неудачи. Подумав, он шепотом предлагал в обмен:

— Если хочешь, Боженька, то за это укороти мне немножко жизнь...

У Бориса же, который родился после революции, уже с детства проявлялся более практический подход к жизни. Если он не доедал чего-нибудь, мать серьезно говорила:

— Смотри, Бобка, что остается на тарелке — это твоя сила. Если не съешь, потом тебя все девченки бить будут.

Мальчишка верил этому и готов был вылизать тарелку и лопнуть, лишь бы девченки не оказались сильнее его. Эта привычка подчищать тарелку осталась у него на всю жизнь.

Позже обнаружилось, что Максим пишет левой рукой. Младший брат поддразнивал старшего:

— Эй, ты, левша! А ну, брось камень с правой.

Мать же сказала строго:

— Не смейся, Бобка. Это его Бог наказал, — чтобы он не обращался к Богу с глупыми просьбами.

Хотя и левша, но школу Максим окончил с отличными отметками. Он поступил на исторический факультет Московского университета и мечтал стать профессором. Помимо профессорских амбиций, он еще любил

командовать людьми. Потому он вскоре вступил в партию и даже выдвинулся в секретари факультетской парторганизации.

Дома же Максим любил подчеркивать свою роль старшего брата. Частенько он посылал младшего брата с записочками к девушкам, за которыми он ухаживал. Но только тогда, когда успех был обеспечен, — как свидетеля своих побед. Если же успех был под вопросом, Максим находил другие пути — без свидетелей.

Хотя Борис был значительно младше Максима, но к старшему брату он всегда относился довольно скептически. Может быть, потому, что старший везде искал возможность покомандовать, а младший терпеть не мог, когда им командуют. Или, может быть, потому, что левша Максим еще умел шевелить ушами и часто демонстрировал это.

— В точности, как осел! — говорил младший.

Несмотря на это, и университет Максим окончил с блестящими успехами. Так как он хорошо проявил себя в должности секретаря факультетской парторганизации, то, вместо работы по специальности, учителем истории, он получил по партийной линии назначение на службу в ГПУ. Звание уполномоченного ГПУ, что в то время соответствовало чину капитана, вполне импонировало амбициям Максима. А тем более щеголеватая военная форма и малиновые петлицы, которые наводили страх на окружающих.

Максим никому не сказал о своем назначении, а потом вдруг появился дома в полной форме ГПУ. На поясе в новенькой кобуре поблескивал маленький браунинг системы Коровина, что считалось в ГПУ особым шиком. Увидев злоеющие петлицы, их отец, пожилой доктор-гинеколог, неодобрительно покачал головой:

— Я стараюсь продлить жизнь людей, а ты будешь заниматься ее сокращением. Нехорошее это занятие.

Единственным, на кого форма и браунинг Максима не произвели ни малейшего впечатления, был младший брат. Первая стычка произошла у них, когда Борису исполнилось четырнадцать лет. Максим сидел за столом и заполнял служебную анкету. Чтобы идти в ногу с временем и со своей должностью, в графе о родителях он написал расплывчатое определение «трудящиеся». Борис заметил это и решил, что этим брат отказывается от их отца.

— Отец не рабочий, а доктор, — сказал он. — Зачем ты врешь?

— Не твоего ума дело, — ответил старший.

— Сразу видно, что левша, — насмешливо бросил младший. —

Все слева делает.

— Молокосос! — вскипел уполномоченный ГПУ. — Сейчас я тебе уши надеру.

— Попробуй, — сказал школьник. Чтобы выровнять разницу в си-

лах, он зажал в кулаке вилку и следил за каждым движением брата с таким деловитым спокойствием, что тот решил лучше не пробовать.

Как это ни странно, Максим нисколько не обиделся. Наоборот, потом он даже хвастался своим приятелям:

— Вот у меня младший брат — чуть мне вилку в живот не засалил. Такого лучше не тронь.

Однако вскоре он сам же и забыл про свой совет. Следующая, уже более серьезная стычка произошла у них вскоре после того, как ГПУ переименовали в НКВД.

Жили они на тихой окраине Москвы, во флигеле в глубине двора. Зимой, когда дворик заносило глубоким снегом, во флигеле топили голландские печи, о кафельные изразцы которых так приятно погреть сплщцу. Уголь и дрова для печей приходилось носить ведрами из погреба, для чего нужно было выходить во двор на снег. Это никому не нравилось. Эти прогулки в погреб считались поочередной обязанностью братьев, хотя с тех пор, как Максим надел малиновые петлицы, делал он это крайне неохотно.

Как-то мать послала Максима за углем. Борис лежал в соседней комнате на большом покрытом ковром сундуке, который служил ему постелью, и читал увлекательный роман Райдера Хаггарда «Дочь Монтепумы». Старший брат вошел в комнату младшего и небрежно приказал:

— Бобка, пойдика принеси угля!

— Мать тебя послала — ты и иди, — возразил младший.

— Ты лучше слушай, что тебе говорят.

— Вот когда мать мне скажет, тогда я и пойду.

— Смотри, если через три минуты ты не пойдешь, то я приду с собачьей плеткой! — пригрозил уполномоченный НКВД и вышел из комнаты. Собачья плеть всегда висела на вешалке в коридоре, как полагается в доме, где есть немецкая овчарка.

Младший отложил книжку в сторону, встал с сундука и потихоньку вытянул нижний ящик стола. Под учебниками физики и химии там лежал медный кастет, уже проверенный в нескольких драках. Он надел кастет на руку и опять улегся на свой сундук, держа правую руку в кармане, а в левой «Дочь Монтепумы».

Он читал, как несчастного пленника привязывают к каменному алтарю, чтобы принести его в жертву богам, как зловещий жрец ацтеков приближается к нему с жертвенным ножом. В этот момент в комнату вошел Максим, держа в руках собачью плеть.

— Считаю до трех, — сказал он. — Ра-аз . . . Два-а . . . Три-и !

Дальнейшее Максим описывал своим приятелям так:

— Да-а . . . Такого я еще никогда не видел . . . Чтобы человек прыгал с положения лежа на спине. От сундука до двери минимум шесть

метров. Так он взвился в воздух и, как тигр, прямо мне на голову. Словно его ножом ткнули. Я с плетью, а он на меня с бастетом.

— Неужели? — удивлялись приятели.

— Да-а . . . Ох же и свалка получилась. Шкаф вдребезги разломали, от стола две ножки отломали. Про стулья я уж и не говорю — одни цепки остались, потом я специально сундук проверял — так аж крышка треснула. Это он спиной продавил, когда на меня прыгал. Одна только печка целая осталась.

— Кто же победил?

— Вничью! — с некоторой гордостью за младшего брата говорил Максим. — Его в школе так и прозвали — бугай! Никто с ним справиться не может. Он на турнике уже солнце крутит.

— Кто же пошел за углем?

— Мать пошла. Тогда он у нее ведро забрал, а мне говорит: «Ну, погоди до следующего раза!» Вот же чертяка. Но зато на него можно положиться.

И в этом отношении Максим не ошибся: если младший брат сказал что-нибудь, то на него можно было положиться. До следующего раза ждать пришлось недолго.

В школе, где учился Борис, состоялся вечер самодеятельности. После самодеятельности были танцы в гимнастическом зале, а после тапцев, как обычно, драка на улице с учениками соседней школы. В самый разгар схватки одноклассник Бориса Серафим Аллилуев ни с того, ни с сего поднял стрельбу в воздух из маузера, который он стащил у своего отца, работавшего в Горсовете. Не зная, кто стреляет, обе партии пустились враспынную. Первым испугавшись собственной храбрости, убежал сам Серафим, предварительно сунув пистолет Борису.

На следующее утро Борис сидел у себя в комнате и, в ожидании Серафима, из любопытства разбирал огромный маузер. Зачем-то в комнату вошел Максим. Увидев в руках младшего брата настоящий пистолет, да еще маузер, он так растерялся, что сначала даже ничего не сказал, а вышел и стал о чем-то шептаться с матерью.

— Борис, пойдй принеси дров из погребка! — попросила мать.

Тот собрал свой маузер и, положив его в карман, отправился в погреб. Уполномоченный НКВД воспользовался этим, чтобы обыскать комнату младшего брата. Не найдя пистолета, он схватил с вешалки несчастную собачью плетку, которая в его представлении являлась символом власти в доме, и выскочил на двор вслед за Борисом.

— Дай сюда пистолет! — скомандовал он.

— Не дам, — твердо ответил младший, запуская руку в карман. Старший поднял плетку:

— Да гли нет?

Вместо ответа младший вытащил руку из кармана и в лицо брата ударил дым и огонь пистолетного выстрела. Максим застыл с поднятой рукой, а ему в упор, как из огнетушителя, плескали выстрелы из крупнокалиберного пистолета. Он попятился к крыльцу.

— Брось плеть! — скомаандовал теперь Борис.

Максим послушно бросил плеть в снег.

— Заходи в дом! — приказал Борис. — Быстро!

Когда старший брат скрылся за дверью, младший, как заяц, махнул через забор. Если придет милиция, то пусть Максим сам оправдывается почему подняли стрельбу среди бела дня. Тем временем Борис по глубокому снегу, в одной рубашке, поддерживая штаны, спадающие от тяжести болтавшегося в кармане пистолета, добрался до Серафима и отдал ему маузер. Как Серафим объяснял своему отцу недостатку патронов, осталось неизвестным.

Вечером, узнав о происшествии, доктор Руднев ворчал:

— У нас предки из казаков, а потому у нас в роду есть где-то польская кровь. И турецкая тоже есть. Видно, Максим в поляка пошел: пененцев не маем, зато гонор маем. А вот Борис — чистый турок, прямо башибузук.

Максим чувствовал себя героем дня и хвалился:

— Борька в меня стрелял, стрелял — и ни разу не попал.

— Так ведь я ж тебе мимо ушей целил, — неохотно сообщил школьник. — Как укротитель в цирке.

В досках старого флигеля было много дырок от выдернутых гвоздей. Позже Максим показывал эти дырки своим приятелям и с гордостью рассказывал:

— Видите, это Борька в меня стрелял. Весь дом изрешетил. Ох же и отчаянный он у меня!

Есть люди, которые не могут жить со своими ближними на равных правах. Они всегда стараются быть господами, но если это не получается, тогда они сами лезут в слуги к тому, кто оказался сильнее. Так вот и Максим. Не в состоянии подчинить себе младшего брата, он не только уравнивал его в правах, но даже стал немного заискивать перед ним. Стараясь завоевать его доверие, несмотря на большую разницу в возрасте, он часто приглашал его в компанию своих знакомых и делился с ним всеми своими секретами. Борис же, наученный опытом, держался немного настороже и сохранял безопасную дистанцию.

Разница между братьями проскальзывала во многом. Максим был сухощавый и с тонкой костью, с серыми глазами и светлыми, слегка вьющимися волосами, которыми он очень гордился. Губы у него были узкие, нервные, властные. По этому поводу он утверждал, что такой же рот был у Ницше и Шопенгауера. Студентом он увлекался легкой атле-

тикой, хорошо плавал и бегал на лыжах. Борис же, широкоплечий и темнокожий, предпочитал тяжелую атлетику и гимнастику на снарядах. Старший брал на вспышку, а младший на выдержку.

У Максима всегда было много друзей, которые довольно быстро менялись. У Бориса друзей было меньше, но зато они почти не менялись. Максим постоянно брал у своих друзей книжки. И постоянно бывшие приятели Максима приходили к Борису и, немного смущаясь, просили вернуть книжки, которые старший брат взял у них почитать несколько лет тому назад.

Когда Борис перешел в 8-й класс, он увлекся охотой и купил себе «Фроловку» с магазином на четыре патрона. Вместо картечи он зарядил ружье рублеными кусками свинцовой трубы. Как и полагается настоящему охотнику, он повесил заряженное таким образом ружье в изголовье своей кровати.

Однажды, вернувшись из школы, он уже на пороге почувствовал острый запах охотничьего пороха. Ружье валялось на постели, а по дубовой доске стола, где Борис готовил свои уроки, расхотелся рваный щербленый след выстрела. Заряд рубленого свинца косо резанул по столу и засел глубоко в стене. У Бориса екнуло сердце: что если... Он оглянулся по комнате, ища следы крови. Убедившись, что крови нет, он пошел искать Максима. Тот сидел на кухне в своей щегольской форме НКВД со смущенным видом.

— Ну, как ружье стреляет? — словно между прочим спросил младший. — Хорошо?

— Да, знаешь, я хотел показать знакомым... А оно вдруг выстрелило...

— Удивляюсь, как это никому в живот не попало. Тебе определенно везет.

Уполномоченный НКВД посмотрел на брата и моргнул белесыми ресницами:

— Скажи, а тебе меня не жалко?

— Мне стол жалко, — ответил тот.

Максим и здесь не упустил возможности похвастаться своим приятелем:

— Вот у моего Борьки нервы. Ружье выстрелило, так ему не меня жалко, а какой-то паршивый стол.

Не то, чтобы Борис не любил брата. Нет, он просто знал, что если с Максимом обращаться по-хорошему, то он сейчас же сядет ему на шею.

Собачья плетка, которую так любил Максим, принадлежала немецкой овчарке Рексу. Когда-то Борис собственноручно выбрал щенка в подмосковном питомнике служебных собак и за пазухой привез его домой вместе с длинной родословной. Чистокровный щенок вырос в огромного,

черного, как уголь, и на редкость умного пса. Летом Борис спал на веранде, а Рекс сидел рядом на цепи и охранял своего хозяина. Пес он был довольно серьезный и не давал спуска окрестным хулиганам, которые не раз грозились притравить его.

В один солнечный зимний день, как раз после снегопада, Борис вышел на двор, чтобы расчистить снег. У порога, в судороге вытянув задние лапы, лежал Рекс. Он уткнулся носом в ступеньки, из черных шершавых ноздрей сочилась кровь. От порога к улице по свежевыпавшему снегу тянулся яркий кровавый след. Верный пес дополз до порога, но подняться по ступенькам у него уже не хватило сил.

Борис нагнулся, потрогал рукой еще теплое, но уже безжизненное тело собаки. Потом он кинулся в дом и сорвал со стенки ружье. На ходу щелкая затвором, он яростно крикнул Максиму:

— За мной! Рекса отравили!

Младший брат, как бешеный, носился по снегу с ружьем наизготовку, разыскивая убийцу своего любимого Рекса. А следом за ним носился старший брат и тщетно пытался отнять у него ружье. С улицы прибежали мальчишки:

— Дяденька, дяденька . . . Да вашего Рекса машина переехала . . . Мы сами видели . . .

Только тогда Борис успокоился и поставил ружье на предохранитель. После этого Максим в первый раз пожаловался матери:

— Собаку Борька любит, как человека. А вот я для него — пустое место.

Что касается женщин, то Максим любил ухаживать за чужими женами, как он выражался, за дамочками, и даже обосновывал почему:

— Двойная победа, — и никакой ответственности.

По молодости лет Борис еще не понимал, что это значит, но упрямо возражал:

— Это все равно, что воровство.

— Это по законам Моисея так, — усмеялся уполномоченный НКВД. — Но теперь не то время.

Соответственно этому Максим и женился — тоже на чужой жене. В глазах Бориса у Ольги, жены Максима, имелось два минуса. Первый — что она окончила не институт, а только мукомольный техникум. Второй — что она бросила своего первого мужа. И вместе с тем, Борис оказался косвенной причиной этого брака.

Борис часто бывал на вечеринках в доме своей одноклассницы Ирины. А Ольга жила у них в семье в качестве квартирантки. На вечеринках школьники играли в обтреланный «флирт цветов», в фанты с робками поцелуями и танцевали под патефон. Потом стучали в дверь квартирантки:

— Ольга, присоединитесь к нам!

Та выходила из своей комнаты, всегда кутаясь в большой белый платок ангорской шерсти, словно ее знобило. Фигура у нее была так себе, ничего особенного, но зато лицо . . . Это было лицо Мадонны, красоты редкой, неземной. Вела она себя, как пришелец из чужого мира, и всегда немного скучала. Она никогда не смеялась, а только слабо улыбалась, да и то как-то про себя. Танцевала она неохотно, как деревянная, а если при игре в фанты доходила до нее очередь целоваться, то она поджимала губы и отворачивалась.

— Не обращайтесь внимания, — шептала Ирина. — Она хорошая девушка, только немножко самовлюбленная.

Жили они все по соседству, недалеко от Петровского парка. Однажды в этом парке погожим весенним вечером застрелился студент. Он спокойно сидел на скамейке, мечтая о чем-то, потом вдруг вытащил из кармана наган и выстрелил себе в рот. В другом кармане самоубийцы нашли письмо на имя ангелоподобной Ольги. Оказывается, он учился с ней в одном техникуме. Об этом поговорили, поговорили — и забыли. Мало ли всяких чудаков?

Но через несколько месяцев, когда на дворе стояла поздняя осень, Бориса вызвали к директору школы.

— Вы с Легостаевым дружили? — спросил директор.

— Да, я с ним на охоту ходил.

— Так вот — Легостаев застрелился . . . Из этого самого ружья. Он вам ничего не говорил . . . такого?

— Нет, совершенно ничего.

— Хорошо . . . Пойдите к нему домой — от лица комсомольской организации. Возьмите с собой Серафима Аллилуева, ведь это его двоюродный брат . . . Помогите там чем-нибудь.

Холодное ноябрьское утро. Стук подошв по голой промерзшей земле. Маленький домик на Песчаной улице. Убитая горем мать и темные пятна по стенам — следы крови. На потолке дырки — от той самой картечи, которую они еще недавно вместе катали из рубленого свинца. К штукатурке прилипли какие-то бесформенные серые кусочки — это то, что осталось от мозга его товарища по охоте.

Утром, вместо того, чтобы идти в школу, Легостаев сел в кресло, приставил двухстволку к виску и пальцем босой ноги спустил курки. Выстрелом одновременно из двух стволов, заряженных картечью, ему начисто оторвало голову. На столе лежало предсмертное письмо. Не матери, у которой он был единственным сыном, нет — ангелоподобной Ольге. Письмо было конфисковано милицией, но и так все понимали, что там было написано.

Тихий и замкнутый парень, Легостаев всегда держался в стороне от других подростков. Ничем он особенно не выделялся — ни в учебе, ни в

спорте. Знаменит он стал только после смерти. Его самоубийство, среди школьников вещь необычайная, вызвало много разговоров и еще больше недоумения. Ирина пыталась оправдать свою квартирантку:

— Да Ольга здесь вовсе и не при чем!

— А почему он написал письмо именно ей, а не кому-нибудь другому? — спрашивали школьники.

— Не знаю. Они встречались только у меня на вечеринках. И это все.

— Ну, а тот студент, что застрелился в парке?

— Там тоже ничего не было. Когда-то она пошла с ним один раз в кино — и это все. А за его дальнейшие поступки она не отвечает.

Школьники неодобрительно качали головами:

— Все равно, твоя Ольга какая-то недоделаная.

— Просто у нее рыба кровь, — возражала Ирина. — Потому она все время и мерзнет. Она даже не может спать по ночам и, чтобы согреться, лезет ко мне . . .

Вскоре после этого красавица Ольга вышла замуж. За человека, которого она почти не знала, как говорится, за первого попавшегося. Злые языки шептали, что этим она только хотела избавиться от неприятных разговоров в связи с двумя самоубийствами. У каждого найдутся завистники и недоброжелатели, которые только и ждут предлога посплетничать. В довершение всех бед, сразу же после свадьбы, мужа Ольги забрали на три года в армию, и она осталась на положении соломенной вдовы. Теперь люди жалели ее. А дальше получилось так:

На фотографиях, которые Борис снимал во время вечеринок, Максим заметил ангелоподобное личико Ольги и с видом специалиста потянул носом:

— Бхм, кхм . . . Кто это такая?

— Да так — ни рыба, ни мясо.

— Слушай, познакомь меня с ней!

— Опоздал. Она уже замужем.

— Что, дамочка? Так это самое хорошо.

— Как сказать. Из-за нее уже два человека застрелились.

— Ничего. Ты только познакомь, а остальное — это мое дело.

Максим устроил для своих друзей вечеринку, а Борис пригласил на нее соломенную вдову, которая скучала без мужа. Ольга появилась, как всегда кутаясь в свою белую шаль, и — в этот вечер Максим потерял свое сердце.

Спали братья в соседних комнатах, и раньше младший часто подсмеивался, что старший имеет привычку разговаривать во сне. Но теперь Борис не смеялся. Почему-то ему было даже жалко брата, которого Ольга

словно заворожила. Каждую ночь Максим судорожно ворочался в постели и беспокойно бормотал:

— Оля . . . Милая . . . Оленька . . .

Но Максиму повезло. Ни много, ни мало, ровно через месяц красавица Ольга развелась со своим отсутствующим первым мужем и вышла замуж за Максима. На свадьбе Борис, как зачинщик нового счастья, сидел на почетном месте — по другую сторону новобрачной. После свадьбы старший брат ушел из родной семьи и поселился со своей женой на отдельной квартире в новых домах для работников НВВД.

Вскоре у них родилась дочка. По всему было видно, что Максим очень счастлив, что он боготворит свою молодую жену и страшно гордится ребенком. Он стал солиднее, серьезнее и если хвастался, то только своей женой. В родительский дом он заходил редко. Получив повышение по службе, он был очень занят и все свободное время проводил в собственной семье.

— • —

2 .

Во флигеле было два входа, с балкона — парадный, и с кухни — черный. Однажды зимней ночью Борис проснулся от настойчивого звонка с парадного входа. Недоумевая кто это трезвонит среди ночи, он накинул на голые плечи шубу и спросил через дверь:

— Кто там?

— Это я . . . Открой . . . — услышал он голос старшего брата.

Еще полупьяный от сна, младший откинул болт, снял цепочку, повернул английский замок и открыл дверь. На дворе холод, снег и луна. На фоне освещенного луной снега — темная фигура Максима в длинной военной шинели. Лица его не видно, к груди прижат какой-то большой сверток. Не переступая порога, он протянул сверток Борису:

— Держи! Осторожно . . .

Тот почувствовал у себя на руках что-то мягкое, теплое, шевелящееся и понял, что это закутанный в одеяло ребенок.

— Передай матери, — глухо сказал Максим. — Она знает, что делать . . . — он повернулся и зашагал по залитому луной снегу. На улице зашумел мотор автомашины, и Борис остался один с ребенком на руках.

Ничего не понимая, он разбудил мать и передал ей плачущего грудного младенца. Утром Максим позвонил по телефону, еще раз попросил позаботиться о дочери, но больше ничего не сказал. Вечером обеспокоенная мать поехала к нему на квартиру, чтобы узнать, что случилось,

но дверь квартиры Максима была опечатана красными сюргучными печатями НКВД. Сначала подумали, что Максим арестован. Но он каждый день звонил со службы, справлялся о здоровье ребенка и на все вопросы отвечал:

— Не спрашивайте меня ни о чем . . .

Через неделю он появился в родительском доме. Небритый, с осунувшимся лицом и воспаленными глазами, в измятой форме и нечищенных сапогах, он выглядел так, словно эти дни он спал не раздеваясь. Сняв шинель, он молча прошел к кровати, где лежала его маленькая дочь.

— Максим, скажи хоть что случилось? — робко спросила мать.

— Ничего . . . — поморщился тот. — Я буду жить у вас . . .

— А как же Ольга?

— Она . . . Ее здесь не будет . . .

— Почему? Что у вас произошло?

Сидя на краю кровати и глядя на ребенка, Максим словно не слышал ничего. Потом он пробормотал каким-то чужим хриплым голосом:

— Она покончила с собой . . . Ее уже похоронили . . . И не спрашивайте меня больше ничего . . .

Он устало поднялся, деревянным шагом прошагал в свою комнату и закрыл за собою дверь. В горе одни ищут утешения со стороны, другие, наоборот, уединения. Чувствуя, что Максим избегает всякого сочувствия, домашние решили оставить его в покое пока он переживет свое горе.

Каждый день, приходя со службы, Максим запирался у себя в комнате. Чтобы попасть в свою комнату, Борис вынужден был проходить через комнату брата. Тот часами лежал пластом на диване, не шевелясь, как разбитый параличем, устремив глаза в одну точку и думая о чем-то. Или он неподвижно сидел за своим письменным столом и остановившимся невидящим взглядом смотрел на темную ночь за окном, будто сляясь понять что-то непостижимое.

Войдя однажды в комнату, Борис увидел, что Максим сидит за столом, смотрит в пустое окно, а пальцы его играют маленьким браунингом. Он даже не слышал, как брат вошел в комнату.

— Максим! — тихо окликнул младший.

Старший вздрогнул, будто очнувшись от транса:

— Что такое?

— Дай-ка мне эту игрушку! — протянул руку Борис.

Максим растерянно посмотрел на браунинг, словно недоумевая, как он попал ему в руки, и послушно отдал пистолет брату. Борис сунул браунинг в карман и кивнул на дверь:

— На кухне мать возится с ребенком, никак не может его успокоить. Поли-ка помоги ей.

Максим опустил голову и пошел на кухню.

На следующий день Борис, порядка ради, осмотрел браунинг и убедился, что в обойме не хватает половины патронов. Он понюхал дуло, потом снял верхнюю съёмку и посмотрел канал ствола на свет — он был мутный, с беловатым налетом. Для охотника, привыкшего после каждой охоты чистить ствол оружия до блеска было ясно, что из этого пистолета недавно стреляли. Игрушечный браунинг был немым свидетелем какой-то драмы. Если Ольга застрелилась, то почему нет половины патронов?

После смерти красавицы-жены Максим вел себя так, как будто из него вынули душу. Единственное, что его еще интересовало в жизни — это ребенок, живое воспоминание об Ольге. Часто он брал завернутую в пеленки дочурку на руки, прижимал ее к груди и долго смотрел на нее, словно отыскивая в ней черты любимой жены.

Но капля долбит камень, а время — человеческие чувства. Оправившись от травмы и последующей протрации, Максим постепенно приходил в себя. Первое, что он сделал, — это принес какие-то книги и тексты и уже не смотрел в окно, а сидел и, наморщив лоб, читал и читал. Но книги эти он почему-то тщательно прятал от всех, а уходя, запирали их в столе. Он даже обернул бумагой переплеты, чтобы никто не видел их названия. Борис только мельком заметил, что это какие-то медицинские книги.

Так Максим сидел вечер за вечером, день за днем в течение нескольких месяцев. Но однажды Максим поднял палец и пробормотал:

— Хм, это интересно . . .

— Что такое? — спросил Борис из соседней комнаты.

— Да так, одна фраза . . . Всего две строчки . . .

— Что?

— Ничего . . . Просто так.

— А что это ты за медицину взялся?

— Ты не поймешь . . . Это специфическая тема . . . Но теперь придется поискать в другом месте.

Когда Максим еще не работал в НКВД, а готовился к карьере профессора истории, он уделял много внимания иностранным языкам и прилично читал по-английски, немецки и французски. Хотя Борис собирался стать инженером, но и он тоже серьезно занимался английским и немецким.

Свои поиски Максим начал с того, что притащил в дом целую кучу книг на английском языке. Эти книги он уже не прятал, а бережно поставил их на книжную полку. Все свободное от службы время он штудировал их более тщательно, чем те учебники истории, по которым он занимался в университете, что-то подчеркивал карандашом, делал какие-то выписки. И опять сидел вечер за вечером, день за днем.

Как-то Борис, устав от физики и математики, заглянул брату через

плечо и протяжно свистнул. Книга, в которую тот с серьезнейшим видом углубился, называлась так: «Золотая ветвь», а внизу подзаголовком «История древних религиозных культов и магии. В двенадцати томах».

— Какой же ты это том читаешь? — с усмешкой спросил Борис.

— Десятый, — спокойно ответил Максим.

— Что, хочешь научиться магии?

— Нет, просто так...

— Но ведь это же глупости.

— Нет, — мотнул головой уполномоченный НКВД. — Это не глупости, а сухая история. Фразер — знаменитый антрополог, а его «Золотая ветвь» — лучший в мире научный труд на эту тему.

— Какую тему?

— Не твоего ума дело, — коротко отрезал старший брат.

Куча книг на полке, действительно, оказалась многотомной научной монографией. Но о ком и о чем? Здесь было все, что угодно: огнепоклонники на заре человеческой цивилизации, жрецы солнца, древнеегипетский культ Озириса, кровожадные идолы древней Индии и Мексики, веселые языческие боги древней Греции и Рима, кельтские друиды, негритянские колдуны, эскимосские шаманы и тому подобное. А сверху, как гарантия качества, стоял штампель «Библиотека им. Ленина».

Следом в комнате Максима стали появляться еще более странные книги. Например, «Исследование о черной магии и пактах с дьяволом, включая обряды и мистерии готской теургии, колдовства и inferнальной некромантии», ученый труд, принадлежащий перу Артура Вайта. Или «Анналы колдовства, демонологии и астрологии в Западной Европе», изданные в Нюрнберге в 1623 году. А рядом пожелтевший трактат на тему «Магнетизм, спиритуализм и оккультные науки».

— Зачем ты тратишь время на всякую чепуху? — спросил Борис.

— Это не чепуха, — ответил брат.

— А что же это такое?

— Это совершенно серьезные книги, написанные серьезными учеными. Они пытались разрешить некоторые загадки.

— Как делать золото из свинца?

— Нет, совсем другое...

— А что же?

— Ты этого не поймешь, — согнулся над своей работой Максим. —

И не мешай мне.

Затем на столе уполномоченного НКВД очутилась целая стопка протоколов. Но это не были дела о контрреволюционерах, правых и левых уклонистах и прочих врагах советской власти. Это были средневековые манускрипты на английском языке с такими пространственными названиями:

«Подробный и правдивый протокол о чрезвычайно поучительном

процессе трех отмененных ведьм из селения Денфорд, в графстве Эссекс, перед судьей короны многоуважаемым сэром Фрэнсисом Пэмбертом в замке Экзетер в пятницу 2-го июня 1682 года, с собственноручными обследованиями и заключениями очень известного медика доктора Генри Хирса, как эти негодницы сознались в колдовстве и были приговорены к казни согласно определению закона, и как это записано согласно показаниям достопочтенных свидетелей. Отпечатано в Лондоне в 1682 году».

Или такой протокол:

«Отчет о Маргарите Хаккет, известной ведьме, которая довела одного молодого человека до смерти, разбросала его внутренности и кости во все стороны, и которая была казнена в Тирборне 19 февраля 1585 года».

Или вот такой документ:

«Материалы суда над ведьмой Мэри Грин и ее дочерью Элен, которая тоже упражнялась в колдовстве, как они сознались в преднамеренном отравлении нескольких почтенных людей и других нечестивых поступках в результате пакта с дьяволом, и как они по приговору суда были казнены в Хартфорде 4 августа 1606 года».

Перелистав эти мрачные документы, Борис с некоторым беспокойством посмотрел на брата, который сосредоточенно изучал очередной протокол 16-го века:

— Скажи, Максим, чем ты, собственно, занимаешься?

— Просто меня интересуют некоторые вещи . . .

— Какие вещи?

— Это тебя не касается.

— А почему это тебя касается?

— Это мое дело.

— А ты, может быть, немного того? — младший многозначительно постучал себе пальцем по лбу.

Старший устало потер воспаленные глаза и зевнул:

— Нет, об этом не беспокойся — и не приставай ко мне.

Так проходил месяц за месяцем, а Максим, как одержимый, все копался в своих средневековых трактатах. После ведьм, словно проверяя что-то, он опять взялся за какие-то медицинские книги, которые он опять прятал от всех. При этом он время от времени бормотал себе под нос:

— Ну да . . . Так и есть . . . Только другими словами . . .

— Что? — спрашивал младший сквозь полу-открытую дверь.

— Ничего, — отвечал старший.

Затем он снова прыгнул в глубину веков, но уже не так далеко. Теперь он штудировал серию книг из области криминологии: «История необычайных преступлений 18-го века» или «Порок и преступление в 19-ом веке» и тому подобное. Он охотился за чем-то, как артиллерист,

пристреливающийся в цели — перелет, недолет, потом все ближе и ближе. Но цель Максима лежала где-то во тьме средневековья.

Однажды вечером, придя домой со службы и снимая шинель, он не выдержал и похвастался:

— Вот сегодня я допрашивал интересного человека . . .

Чувствовалось, что он напрашивается на вопрос. Борис поднял голову от учебника геометрии:

— Какого человека?

— Одну старую-престарую проститутку. Самую старую, какую только нашли. По всем тюрьмам искали.

— Зачем она тебе понадобилась? Да еще такая старая?

— Нужно кое-что узнать. Есть такие непечатные вещи, которые не найдешь ни в каких книгах. Зато это хорошо знают опытные проститутки — и не стесняются об этом говорить.

— Зачем тебе это знать?

— Потому что порок всегда связан с преступлениями.

— Что же она тебе сказала?

— Много интересного. Сейчас я собрал по тюрьмам ряд уголовных дел, которые по форме совпадают с теми преступлениями, в которых обычно обвиняли ведьм. Теперь я на практике проверяю то, что писалось во всех этих книгах. Понимаешь? Получаются очень забавные результаты . . . Оч-чень забавные . . .

— Как же ты это проверяешь?

— Расспрашиваю их про родителей, про личную жизнь . . . Они думают, что я сокращу им сроки заключения . . .

— А зачем тебе это нужно?

— Просто так . . . — уклончиво ответил уполномоченный.

Через полгода после самоубийства Ольги, Максим вдруг получил на службе специальный отпуск для работы над научной диссертацией. Каким-то образом работа эта была связана с НКВД — он числился в штате, получал свое жалование — и никому не называл тему своей диссертации. Весь день он сидел дома за закрытой дверью и рылся по библиографическим справочникам.

Он получил возможность собирать свою собственную коллекцию книг, необходимых для его научных изысканий. На титульном листе теперь уже стоял штамп «Научно-исследовательский спецфонд НКВД». Через посредство НКВД он заказывал некоторые книги даже за границей. Это была странная коллекция на темы, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом: трехтомное сочинение Генри Ли «История средневековой инквизиции», а рядом либретто оперы Пуччини «Принцесса Турандот»; философские «Диалоги» Платона, а рядом опять какие-то пожелтевшие трактаты о нечистой силе. Во всех этих книгах Максим

что-то подчеркивал красным карандашом, некоторые места, видимо, особенно важные, он отмечал цветными заклеяками с шифром и одновременно делал заметки в толстую синюю папку, которую он всегда записывал в стол.

В этой коллекции Борис обнаружил и книгу Райдера Хаггарда «Дочь Монтепумы», которую он когда-то читал перед драмой с Максимом. Рядом стоял роман того же автора «Она», про какую-то таинственную королеву в джунглях Африки. Увидев в обоих книгах пометки красным карандашом, он заинтересовался:

— А это тебе зачем?

— Так, нужно было . . .

— Ведь это же для детей!

— Ха, это ты так думаешь.

— А для кого же?

— Для . . . Для тех, кто впадает в детство.

— А какая в этом разница?

— Очень большая. Когда человек впадает в детство — это означает конец цикла, приближение смерти. Понял?

— Ничего не понимаю.

Максим махнул рукой:

— Тогда занимайся своими делами — и не лезь ко мне.

В середине лета, когда на мусорной куче расцвели волчьих ягоды, Максим вдруг сам впал в детство. В начищенных хромовых сапогах он пополз в заросли сорняков на мусорной куче, собирал там каких-то трав и принялся сушить их в духовке. Затем он уселся за свой стол, залатанный всякими идиотскими книгами, закрыл окна и двери, положил высушенные в духовке травы в жестянку из-под консервов и поставил ее на горящую спиртовку. Из жестянки подымался сизый дымок, а уполномоченный НКВД сидел и нюхал этот фимиам мусорной кучи.

— Ты что, совсем рехнулся? — спросил Борис.

— М-м-м . . .

— Что ты там нюхаешь?

— Белладонну . . .

— Тыфу! Ведь потом голова болеть будет.

— Ничего. Ты сейчас никуда не уходишь?

— Нет.

— Тогда, на всякий случай, посиди рядом. Посмотри, что со мной будет. Только не дыши этим дымом. Это все-таки яд . . .

— Хорошо. Только сначала скажи, зачем это тебе?

— Нужно кое-что проверить, — не отрываясь от своего странного занятия, он кивнул на раскрытые книги: — Вон, почитай!

На пожелтевших от времени страницах рукой Максима были под-

черкнуты описания того, как ведьмы готовят из белладонны всякие зелья. Рядом сцена шабаша, где веселые ведьмы смолот листья белладонны и, наслаждаясь ядовитым смрадом, поют и пляшут вокруг костра.

Для начала Максим решил испытать действие дыма белладонны на собственном опыте — до одурения, пока не свалился на койку. На следующий день он держался за голову, проелинал всех ведьм и нечистую силу — но, несмотря на это, аккуратно записывал свои ощущения в синюю папку. Дальнейшие колдовские зелья он проверял уже не на себе, а на подопытных заключенных.

— Все это разные наркотики, — бормотал он. — Некоторым это даже нравится.

Научная работа Максима принимала все более необычайные формы. Он получил специальное разрешение и с помощью особой команды начал разрывать заброшенные могилы на старых московских кладбищах. Но не все подряд, а только те, которые его почему-то интересовали. Из каждой такой могилы он брал берцовую кость скелета и привязывал к ней ярлык. С надгробного памятника он списывал на этот ярлык имя, фамилию, возраст и дату смерти подопытного покойника. Затем эти кости поступали в химическую лабораторию НКВД.

Борис сидел за своим прострелянным столом с поломанными ножками и зубрил законы математики. А у соседнего окна, отделенный только обычно полуоткрытой дверью, сидел за своим столом старший брат и, как чернокожничник, занимался своими темными делами. То ли потому, что таким образом Борис был невольным свидетелем его занятий, то ли потому, что ему нужно было хоть с кем-нибудь делиться своими мыслями, но единственным, кого Максим немного посвящал в свои дела, был Борис.

— Эй, ты, — гробокопатель, — насмеялся младший. — А зачем тебе скелеты понадобились?

— Просто я проверяю старое народное выражение — белая кость и голубая кровь, — невозмутимо ответил старший.

— Как же ты это проверишь?

— В буквальном смысле. Я вскрыл ряд могил старой родовой аристократии и столько же могил простых людей. Взял кости этих двух категорий, того же возраста, при всех остальных равных условиях — и сравнил.

— Ну, и что?

— Очень любопытные результаты. У родовой аристократии, по сравнению с простыми людьми, действительно, белая кость. И химический анализ показывает существенную разницу. Нарушение фосфорно-кальциевого баланса.

— Что же это доказывает?

— Вероятно, в течение веков люди заметили эту разницу. Может

быть, наблюдая кости на заброшенных полях сражений. Отсюда и пошло выражение белая кость и голубая кровь.

— Но тебе-то это зачем?

— Нужно, — односложно ответил уполномоченный НКВД.

За этими занятиями Максим даже потерял интерес к своей дочурке. Больше того, казалось, что он избегает видеть ее, будто это живое напоминание о мертвой красавице-жене стало ему теперь неприятно. Он уже не брал ее на руки, а только изредка останавливался у ее кровати и задумчиво смотрел на нее, словно и здесь изучая что-то. Потом молча уходил и запирался в своей комнате.

Теперь горячая душа Максима безраздельно принадлежала его загадочной научной работе. Затем он неожиданно заявил, что отправляет ребенка к родителям Ольги, которые жили в Березовке, дачном поселке неподалеку от Москвы.

— Зачем ты это делаешь, Максим? — удивленно спросила мать.

— Так будет лучше, — коротко ответил тот, избегая встречаться с матерью взглядом.

— Оставь ее у нас, — вступился отец.

— Нет, завтра я отвезу ее в Березовку.

— Но почему?

Старший брат нахмурился и сухо повторил:

— Так будет лучше.

3.

Потом Максим отправился в научную экспедицию. И не куда-нибудь в Крым или на Кавказ, а в самые гиблые места Северной Сибири и Заполярья. Экспедиция была организована НКВД. В ней принимали участие еще несколько ученых, которые имели какие-то частные задания, но командовал всем Максим. В распоряжение экспедиции предоставили самолеты полярной авиации НКВД, но к конечным пунктам назначения добираться пришлось с помощью местных проводников на оленьих упряжках. В сопровождении своих ученых ассистентов Максим обследовал заброшенные в глуши Заполярья, отрезанные от мира и недоступные даже для советской власти стойбища кочевников, самоедов и тунгусов, ведущих почти первобытный образ жизни.

На память об этой экспедиции он привез с собой в Москву расшитую бусами оленью парку, мягкие самоедские пижмы и коллекцию музейных предметов: расписанный яркими красками старый туземный бубен с медными побрякушками, выдолбленные из темного дерева диковинные фигурки уродливых самоедских идолов, нагрудную бронзовую бляху с таинственными знаками — символ власти шамана, а также целый ворох тяжелых ожерелий и браслетов из каких-то костяшек.

На оскаленных физиономиях божьих засох слой темной грязи. Но

именно с самым грязным, самым старым и уродливым идолом Максим обращался бережнее всего и относился к нему с видимым уважением.

— Ты хоть бы его помыл, — посоветовал Борис.

— Нельзя. В этом-то и его ценность.

— Почему?

— Это не грязь, а засохшая кровь. Во время жертвоприношений этих божков мажут кровью.

— Какой — оленьей?

— Да, теперь оленьей. Но этому идолу несколько сот лет, и химический анализ показал, что раньше его мазали человеческой кровью.

— Когда это было?

— Приблизительно в то же самое время, когда в Западной Европе жгли ведьм и колдунов. И один старый шаман рассказал мне одну интересную вещь, которую он слышал от своих предков. Оказывается, в жертву богам приносили человека по выбору шамана — и с теми же характерными признаками, по которым средневековая инквизиция определяла ведьм. Самоедские шаманы понятия не имели об инквизиции, но делали то же самое. Разве это не интересно?

— А-а, темные века, — пренебрежительно сказал Борис и взял в руки туземное ожерелье.

— Века эти не такие уж темные, если знать в чем дело, — возразил уполномоченный советской инквизиции и насмешливо прищурился: — А ожерелье это, между прочим, тоже из человеческих костей.

Школьник брезгливо швырнул необычайное украшение:

— Тьфу, теперь руки мыть надо.

Максим невозмутимо пояснил:

— Это была главная регалия одного знаменитого шамана — кости его собственной пра-прабабушки, которая тоже была шаманкой. Искусство колдовства часто передается у них из поколения в поколение. Считается, что в этих костях заложены колдовские силы. С определенной точки зрения это правда.

— Какая ж правда?

— Колдовская . . . — неизвестно кому подмигнул Максим. — Когда я забрал у него эти кости, шаман так обозлился, что призвал на меня проклятие всех своих предков.

— Ну, раз ты веришь в колдовство, тогда ты должен остерегаться.

— Нет. Потому что я знаю это проклятие. Когда я поговорил с шаманом по душам, он сам убедился, что я колдун сильнее его. По этому поводу он даже устроил специальный праздник с камланием в честь «мудрого красного шамана». Мои профессора сидели у костра в качестве свидетелей и только хлопали глазами. Там я наблюдал шаманские пляски с

бубном и припадками. Кстати, эти припадки часто фигурируют в протоколах инвизиции.

— Это что, эпилепсия?

— Нет, по средневековой терминологии — в человека вселился дьявол . . . Потом я выменял у этого шамана кости всех его остальных предков, — Максим кивнул в сторону кучи озерелий.

— Зачем они тебе?

— Кое-что проверить . . . с помощью спектроскопа, — опять уклонился от прямого ответа старший брат. — Знаешь, у тунгусов есть один оригинальный обычай. Проезжего путника угощают во-всю, а потом кладут спать с женой хозяина. Если гость отказывается, то для мужа это великое оскорбление, за это могут даже убить.

— Ну, а как ты, воспользовался этими дамочками?

— Нет. Чтобы понравиться гостю, тунгусские дамочки вместо воды моются рыбьим жиром. Можешь себе представить, какая от них вонь.

— Власть собственную жену с чужим дядей — забавный обычай.

— Не забавный, а очень даже умный.

— А если ребенок будет?

— Вот именно этого и хотят.

— Почему?

— Все дело в том, что в этих диких местах бывает один чужой путник раз в три года.

— Ну, так что?

— Таким образом умышленно подмешивают свежую кровь. Вот что! Это же рекомендует и современная генетика. А тунгусы дошли до этого жизненным опытом.

— Это уж слишком того . . . — усомнился школьник.

Офицер НКВД, которого шаман признал за коллегу по профессии, загадочно усмехнулся:

— Этот интересный обычай введен шаманами, а им это подсказали бабушкины кости . . . Понял?

Но Борис ничего не понял. Да его и не интересовали тайны сибирских шаманов, когда на носу экзамены по истории ВКП(б).

В своих, упорных и месяцами длившихся, изысканиях, Максим метался не только по всем векам человеческой цивилизации, но и по самым, казалось бы, несоответствующим закоулкам человеческой мысли. Вместе с тем, в этом хаосе чувствовалась какая-то определенная, известная только ему одному система. Вскоре после экспедиции к сибирским шаманам, Борис обнаружил у него на столе малоизвестную книгу малопопулярного в Советском Союзе Сигизмунда Фрейда под таким названием: «Тотем и табу: аналогии между психической жизнью дикарей и невротиков». И опять штампель НКВД и пометки красным карандашом.

После Фрейда Максим снова принялся за книги о нечистой силе, на этот раз все более концентрируясь на писаниях католических священников и отцов Церкви. Убедившись, что большинство интересующих его книг написаны по-латыни, он занялся латинским языком и через некоторое время достаточно овладел им, чтобы читать со словарем. Теперь у него на столе красовались такие первоисточники по сатановедению: Acontius — "Stratagemata Satanae", 1565; Nicolas Jacqueries — "Flagellum Daemonum Fascinariorum", 1458; Joannes Vinetus — "Tractatus contra daemonum invocatores", 1450, и так далее в таком духе.

Штудирова средневековый трактат "Malleus Maleficarum", изданный неким Шпренгером в 1496 году в городе Нюрнберге, он усиленно черкал красным карандашом что означало важные места, одобрително мотал головой и соглашался:

— Да, так и есть... Правильно, товарищ инквизитор! Борька, знаешь что такое по-латыни малеус малефикарум? Это «Молот ведьм» — руководство, как раскалывать ведьм.

— Ты, мракобес, не мешай мне учить тригонометрию, — звучало из соседней комнаты.

Наставления средневековых охотников за нечистой силой Максим изучал теперь с большим увлечением, чем в свое время первоисточники классиков марксизма-ленинизма. Перед сном, ложась в постель, он, чтобы отвлечься и отдохнуть, брал томик стихов Бодлера «Цветы зла», но и здесь опять что-то черкал и ехидно комментировал:

— Ага, тоже хвостом крутит... Сразу видно... Так, так, а у этой его прости-господи, квартиронки, на груди, значит, черная метка...

— Кого ты там за хвост ловишь? — спрашивал через дверь Борис.

— Дьявола, — отзывался Максим.

Младший подтрунивал:

— Когда поймаешь — покажи мне.

— Не только поймаю, но еще на нем и покатаюсь, — невозмутимо отвечал старший.

Он много работал по ночам, часто до самого утра засиживаясь за своим столом, заваленным всякой чертовщиной. Вставал он поздно, с воспаленными глазами, безразлично проглатывал завтрак и сразу же опять принимался за свое занятие, которое теперь было единственным содержанием его жизни. Когда Борис как-то спросил старшего брата, почему тот работает по ночам, Максим криво усмехнулся:

— Так удобнее... В одну смену с чертями...

После самоубийства несчастной Ольги прошел почти год. За все это время Максим ни разу не произнес имя жены, никогда не говорил об обстоятельствах ее смерти или где находится ее могила. Вместе с тем,

младший брат иногда замечал, как старший под утро беспокойно мечется во сне и сквозь стиснутые зубы шепчет в подушку:

— Оля . . . Ведь я так любил тебя . . . Оленька . . . Неужели ты не могла иначе . . .

Значит, он не забыл ее. Значит, не зажила рана в его сердце. Иногда Борису казалось, что увлечение Максима средневековой алхимией каким-то образом связано со смертью Ольги. В обрывках слов брата часто проскальзывали темные намеки о каких-то тайнах жизни и смерти. Может быть, уполномоченный НКВД, ища забвения, пытается в глубине веков обрести потерянное счастье, найти философский камень мудрецов, источник жизни и смерти. Или, может быть, с упорством безумца он ищет мифическое средство, чтобы оживить любимого человека?

Почему вдруг Максим с серьезнейшим видом штудировал средневековую мистику, сочинения о спиритизме, медиумах и общении с потусторонним миром? Уж не собирается ли он таким образом вызвать бесплотный призрак своей мертвой красавицы-жены? Иногда Борису казалось, что брат страдает навязчивой идеей, что он просто помешался от горя. Но в остальном Максим вел себя совершенно нормально. Да и почему тогда НКВД субсидирует его сумасшедшую работу, предоставляет в его распоряжение профессоров и даже снаряжает специальную экспедицию к шаманам? Причем здесь анализы засохшей крови людей, когда-то принесенных в жертву языческим богам, и спектрограммы шаманских костей?

В физическом кабинете Борис и сам занимался со спектроскопом, делаа анализы металлических сплавов. С помощью спектрограммы света звезды, невидимой простым глазом и удаленной от земли на сотни световых лет, можно узнать точный химический состав этой звезды. Но что можно узнать в старых костях шаманской пра-прабабушки?

Очередным номером программы следователь по делам нечистой силы ударился в изучение православной веры, вернее богословия. Он приказал своим помощникам достать ему хоть из-под земли самого лучшего богослова, какой еще остался в живых в Советском Союзе. Сибирь — это склад всяких редкостей. Где-то, чуть поближе, чем шаманы, в одном из сибирских концлагерей разыскали бывшего члена Святейшего Синода и профессора богословия Высшей духовной академии. Дряхлого старичка, мирно доживавшего свой век санитаром в концлагерном медпункте, вдруг помыли, переделали, посадили в самолет и доставили в Москву.

Очутившись на Лубянке, старичек не ожидал ничего хорошего. Его провели к худощавому офицеру НКВД с тонкими нервными руками и глазами фанатика, смотрящими куда-то вдаль. Прежде всего следователь учтиво извинился за обстановку, в которой им приходится беседовать.

На столе лежала толстая кипа бумаг: протоколы всех допросов, которым священник подвергался за долгие годы мытарства по тюрьмам и концлагерям. Затем начался необычайный допрос. С карандашем в руке худощавый офицер листал протоколы и внимательно расспрашивал заключенного о всех следователях, которые допрашивали его раньше: как они вели себя во время следствия, били ли они его, пытали, ругали, унижали физически или духовно, как именно. Вдруг он поднял карандаш, записал на листке бумаги имя одного из следователей и тихо произнес:

— В этом человеке сидит дьявол. Вы со мной согласны, профессор?

Старичек печально потупил глаза и молчал.

— Хорошо. Я понимаю ваше положение, — кивнул офицер. — Пойдемте дальше.

Он проверил еще несколько папок, остановился на одной и опять стал подробно расспрашивать о методах допроса данного следователя, входя в самые мельчайшие и, казалось бы, незначительные подробности. Затем посмотрел на своего собеседника:

— В протоколах об этом ничего не сказано. Но ведь это было? И, как вы видите, я знаю об этом! Что вы по этому поводу думаете, профессор?

Старичек болезненно поморщился:

— Я не хотел бы вспоминать . . .

— Тогда я скажу то, что вы не хотите сказать . . . В этом человеке тоже сидит дьявол, — офицер с глазами фанатика откинулся в кресле. — Все это я говорю вам для того, чтобы вы поняли, что именно меня интересует, с какой точки зрения это меня интересует — и чтобы вы могли мне разобраться в этом.

Старичек растерянно заморгал глазами, в них вспыхнул огонек изумления, смешанного с недоверием:

— Это слишком необычайно . . . Я не понимаю, зачем это вам . . .

Тонкие пальцы офицера постукивали по столу:

— Профессор, долг богослова заключается в том, чтобы толковать слово Божие тем, кто ищет этого . . . Ведь именно об этом я вас и прошу: объяснить мне некоторые места Священного писания . . .

— Да, но об этом говорится только иносказательно . . .

— Вот потому я и хочу, чтобы вы разъяснили мне, что за этим подразумевается, — спокойно повторил офицер.

Его интересовало библейское толкование Бога и дьявола, все места Библии, где упоминался дьявол и его разногласия с Богом. Что такое дьявол: падший ангел — почему? Нечистый дух — почему? Князь мира сего — почему? Ангел смерти — почему? Он учитывал даже такие технические детали, как особенности древних языков, на которых

писались книги Завета, где не было многих понятий, привычных для нас сейчас.

К своему глубочайшему недоумению в худоцавом офицере НКВД профессор богословия нашел примерного ученика, с великолепной предварительной подготовкой, глубокой эрудицией и, главное, искренним желанием вникнуть в суть предмета. Одно только было плохо: интересы ученика православия казались несколько односторонними. Когда профессор увлекался, говоря о Боге, ученик вежливо прерывал его:

— Простите, профессор, Бог интересуется меня только как антитеза дьявола. Нельзя ли поближе к теме . . .

Старичек укоризненно тряс седой бородкой, воздевал руки к потолку и мягко поучал:

— Молодой человек, дух дьявольский есть отрицание духа Божественного. Не зная, что отрицать, не зная начала, вы не поймете конца.

— Да, вы правы, — соглашался офицер и слегка позевывал. — Итак, дух — это вектор мыслящей субстанции. Прошу вас продолжать.

В результате на книжной полке Максима появилась толстая Библия в черном кожаном переплете и с многочисленными цветными закладками и пометками. Когда консультации по богословию закончились, профессора не отправили назад в Сибирь, а отпустили на волю. Он понял, что это плата за учебу от его необычайного ученика.

Покончив с грешниками, Максим принялся за праведников. Он читал историю возникновения монашеских орденов, сочинения современников о суде над Жанной д'Арк и Жития святых. Перед сном же он зачем-то перечитывал роман Флобера «Соламбо», который он читал в юности, историю загадочной жрицы лунной богини Танит, и, вместе с тем, не менее внимательно пробежал глазами какие-то дешевые книжонки, даже без указания автора, вроде «Дневника сестры Анжелики», где якобы описывались пикантные тайны из жизни за монастырской стеной. После этого он возвращался к папским эдиктам, касавшимся охоты на ведьм, и одобрительно бурчал:

— Умный старик, этот товарищ папа . . . Следовательно для грешников был выбор — костер или монастырь . . . Это довольно либерально..

— Что такое? — вопрошал из-за двери Борис и получал обычный ответ:

— Ты, болван, этого не поймешь.

Увлечение Житиями святых не помешало Максиму заняться раскопками на монастырских кладбищах. С останками праведников он проделывал ту же серию экспериментов, что и с белыми костями старой аристократии. Получив результаты лабораторных анализов, он сидел за столом и подводил баланс. Младший брат поднял голову от учебника по биологии и, чтобы развлечься, подсмеивался:

— Эй, звездочет, а мощи тебе зачем понадобились?

Старший, как и положено чернобукнижникам, давал ответ неясный и расплывчатый:

— Гони черта в двери, он придет в окно — в образе праведника. Это и у Фрейда есть — сублимация. Вот ты лучше скажи, почему это люди идут в монастырь?

— Значит так им нравится.

— Но ведь жизнь в монастыре довольно тяжелая. Обеты. Посты. Дисциплина. Так вот — зачем люди туда идут?

— Не знаю, — сказал Борис. — А ты знаешь?

Уполномоченный по делам нечистой силы медлил, подбирая слова:

— Это им совесть говорит. Высшая совесть. Подвижничество настоящих праведников заключается в том, что они преодолели грешную плоть, устояли перед дьяволом с его искушениями и смирились перед Богом. И это большой подвиг.

Он говорил так серьезно, что Борис едва удерживался от смеха:

— Ну, а тебя дьявол искушал?

— Нет. Дьявол искушает только грешную плоть.

— Но ведь мы все грешники.

— Э-э-э, нет . . . Некоторые вещи нужно понимать не в переносном смысле слова, а в совершенно прямом смысле слова, как это понималось раньше. В этом-то и весь секрет.

— Как так?

— Все дело в том, что во времена крещения Руси, в 10-м веке, русское слово грех произошло от слова грек.

— А причем здесь греки?

— Потому что они были язычниками. Понял?

— Ничего не понял, — признался младший.

Тогда старший криво усмехнулся:

— А слово язычник знаешь откуда произошло?

— Откуда?

— От слова язык — лингва, — тут он пробормотал еще какое-то слово, которое обычно употребляется в пикантных французских анекдотах. — Это один из грехов, которыми занимались греки. Потому от древней Греции и осталось одно воспоминание.

За туманными речами и намеками Максима проскальзывало что-то совершенно определенное, что он знал, но до конца никогда не договаривал. Это было тем более странно, поскольку, вообще, он очень любил похвастать своими знаниями. Если он молчал, значит у него была серьезная причина хранить эту тайну. Однажды, когда ему слишком уж надоели иронические реплики Бориса, он неохотно сказал:

— Ты про Троянскую войну слышал? Так вот, археологи уже давно

разыскивали остатки Трои и никак не могли найти. Тогда одному археологу-любителю пришла в голову простая мысль: для раскопок воспользоваться описаниями Троянской войны в «Илиаде» у Гомера. И что же? Так он нашел остатки сожженной Трои! В Библии упоминаются некоторые города, от которых теперь не осталось и следа. Пользуясь Библией, стали копать в голой пустыне — и нашли эти города, — он устало потянулся, как археолог после раскопок. — Так вот и я нашел в старых книгах . . . некоторые забытые истины.

Вместо Трои, Максим вскоре снарядил вторую научную экспедицию — в Республику немцев Поволжья, в немецкие колонии вокруг Одессы, существующие со времен Петра Великого, и, наконец, в какие-то дикие аулы, затерявшиеся в горах Кавказа. Что искал он там, по следам Прометея, — неизвестно.

На этом следователь по делам нечистой силы поставил точку. После загадочной научно-исследовательской работы он защитил свою диссертацию. Когда Борис, частью из вежливости, частью из любопытства, выразил желание пойти послушать эту процедуру, Максим отрицательно покачал головой:

— Нельзя. Это спедпроект и защита закрытая.

Для кандидатской диссертации обычно полагается триста страниц. Вместо этого Максим представил три толстых тома, где одна библиография источников занимала более пятидесяти страниц. И вместо кандидата наук, — в порядке редкого исключения, что делается только в случае каких-либо необычайных заслуг, — сразу получил высшую ученую степень доктора социальных наук и философии.

Для больших открытий, как правило, необходимы два условия. Первое — чрезвычайная, сверхчеловеческая концентрация на данном предмете. И второе — способность найти за частностями закономерность и сделать из этого вывод.

Смерть любимого человека так подействовала на Максима, дала ему такой толчек, так сконцентрировала его на какой-то только ему одному известной цели, что ради этого он забыл обо всем остальном на свете. В поисках ответа он перебрал все частности, перерыл всю сокровищницу человеческой мысли от Библии и до Фрейда, всю историю человеческой цивилизации от первобытных тунгусов с их шаманами до бранных останков утонченной аристократии — и он нашел какую-то закономерность. Причем что-то важное. Иначе ему не дали бы так сразу диплом доктора.

Мельком Максим заметил, что его работой заинтересовался сам Сталин. Какой практический вывод сделал для советской власти доктор социологии Руднев из своего увлечения средневековой алхимией — научился он делать золото из свинца? Или открыл секрет материализации духов? Ведь в газетах как-то писали, что и Адольф Гитлер тоже субси-

дировал подобные странные начинания, где ученые занимались телепатией, спиритизмом и парапсихологией.

— Макс, что ты там изобрел? — спросил Борис.

— Формулу дьявола, — ответил тот и даже не улыбнулся.

Так или иначе, с этого момента доктор Руднев стал делать головокружительную карьеру, о которой он раньше и мечтать не мог. Вместе с докторским дипломом он получил чин полковника НКВД. Вскоре у него на груди появился первый орден, и не какой-нибудь так себе, а сразу орден Ленина — высшая награда Советского Союза. В «Правде» стояло коротко: «... за выполнение специальных заданий партии и правительства». Теперь Максим шагал вверх семимильными шагами. Но поразительнее всего было то, что ко всем этим почестям он относился с абсолютным безразличием.

Свою подозрительную библиотеку, собранную за время ночных бдений, в одну смену с чертями, Максим перевез к себе на службу. Теперь он в качестве профессора социологии руководил каким-то чрезвычайно засекреченным Научно-исследовательским институтом НКВД, где у всех научных сотрудников из-под белых халатов, как хвост у черта, выглядывали малиновые петлицы НКВД. Одновременно Максим был начальником какого-то оперативного отдела НКВД, где теоретическая работа его института находила свое практическое применение.

— Что это у тебя за отдел? — полюбопытствовал Борис.

— Тринадцатый, — ответил Максим.

— Это по каким делам?

— По делам нечистой силы. Потому он и тринадцатый.

— Э-э, врешь ты все.

Максим вынул из стола служебный бланк. Там действительно стояло: «13-й Отдел Главного управления НКВД СССР». Борис пренебрежительно махнул рукой и пошел заниматься своими делами, решив, что от Максима ничего путного не добьешься.

Потом... Потом доктор, профессор и полковник НКВД вдруг запил горькую. Хотя раньше он никогда не злоупотреблял алкоголем, теперь он пил, как самый последний алкоголик — в одиночку. Он заперся у себя в комнате, напивался до одурения, затем начинал разговаривать сам с собой. Или, может быть, он беседовал с привидениями, про которые он читался в своих средневековых трактатах о нечистой силе.

Занявшись алхимией, Максим попутно коллекционировал соответствующие этому ремеслу предметы. Так он приобрел где-то оригинальный кубок: немецкой работы тех времен, когда в Германии охотились за ведьмами, из тонкого, раскрашенного от руки матового фарфора, это была мастерская имитация человеческого черепа. Немецкий мастер так постарался и достиг такого сходства с оригиналом, что это произведение

искусства было даже неприятно брать в руки. Максим же сидел и пил из этого кубка водку.

Как-то, проходя в свою комнату, Борис укоризненно сказал:

— Макс, зачем ты пьешь?

— Зачем? — полковник медленно поднял голову и посмотрел на брата мутными глазами. — Так, поговорить надо . . .

— С кем?

— С тем, чего не могут вернуть даже боги . . . С собственным прошлым . . . Которому я обязан своим настоящим . . .

— Зачем тебе это?

— Зачем? . . . Душу облегчить . . . Впрочем, ты, безбожник, в этом ничего не понимаешь . . .

— Пойдем лучше в воскресенье рыбу ловить, — предложил безбожник.

— Воскресение . . . Это реинкарнация души . . . перевоплощение души страданием, как говорил Достоевский, — в углах рта Максима скользнула пехоршая усмешка. — Нет, теперь я другую рыбу вылавливаю . . .

— Что, людей мордуешь? Эх, ты . . .

В голосе младшего звучала неприязнь. Старший нахмурился:

— Ничего ты не понимаешь . . . И не поймешь . . .

— И так все ясно. Потому ты и запил.

— Это только кажется, что это люди . . . А на самом деле это не люди . . .

— А кто же это?

— Ты, Бобка, меня лучше не спрашивай, — полковник поморщился, как от тошноты. — А если я тебе даже и скажу . . . так ты этому не верь . . . и, смотри, никому не рассказывай . . .

— Да ты все-равно ничего умного и не скажешь, — согласился младший.

Старший качался на стуле и бормотал себе под нос:

— Да-х, правильно . . . Ты, Бобка, счастливое животное, млекопитающееся, homo sapiens . . . мезоморфического типа . . . А ведь, собственно говоря, хотя ты ничего не понимаешь . . . ведь это тебя нужно благодарить.

— За что?

— За это! — Максим ткнул себя пальцем в грудь, где у него поблескивал орден Ленина — Да, за это самое . . . Вот видишь, я тебе говорю, а ты ничего не понимаешь . . .

Он тяжело оперся локтями о стол и отхлебнул водки из своего мерзопакостного кубка:

— Ладно, так и быть, открою тебе тайну . . . Хочешь?

— Ты лучше меньше пей, а то нос красный будет.

— Я тебе серьезно говорю . . . А ты, дурак, смеешься . . . Это больша-ая тайна . . . Госуда-арственная тайна . . .

Полковник понизил голос, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает его тайну:

— Так слушай . . . Вот ты, безбожник, думаешь, что чертей нет . . . А я вот тебе скажу, что черти есть!

— Так все пьяницы говорят. Когда перепьются до чертиков.

— Болван, — беззлобно сказал полковник госбезопасности. — Черти есть . . . И оборотни есть, и лешие . . . А ведьмы и ведьмаки так на каждом шагу . . . Ведь я каждый день с ними дело имею . . .

— Понятно, если ты каждый день пьешь, — скептически заметил младший.

— Не веришь? — старший пошатываясь встал, взял с полки какую-то толстую книжку с множеством разноцветных закладок, по этим закладкам нашел нужное место и стал медленно и торжественно читать:

« . . . Ведьмы и ведьмаки — это порождение зла, социальная зараза и паразиты, поклонники отвратных и непристойных убеждений, приверженцы яда, шантажа и других ползучих преступлений . . . Ведьмы и ведьмаки поднимают ссоры, ревность, споры, сердечные разногласия . . . Их пагубная деятельность простирается от семейных неприятностей и столкновений, в отдельности, может быть, и незначительных, но в целом чрезвычайно неприятных и мучительных, до самых серьезных преступлений — . . . гибели имущества, внезапной болезни и гложущей смерти, и, наконец . . . »

Здесь полковник НКВД, специализировавшийся на нечистой силе, многозначительно поднял палец:

— Обрати внимание . . . «и, наконец, до столкновения наций, анархии и красной резолюции, поскольку ведовство всегда было и будет политическим фактором . . . В результате ведьмы и ведьмаки являются постоянной опасностью для всякого упорядоченного общества». Знаешь, кто это сказал?

— Кто?

— Это сказал сам папа Иннокентий 8-й! — с глубоким уважением произнес советский доктор социологии, как ученик, говорящий о своем наставнике. — Это написано в его знаменитой булле от 1484 года! И я подпишусь под каждым его словом!

— Мало ли какие глупости пишут, — возразил Борис. — Бумага все терпит.

— Нет, это вовсе не глупости, — Максим любовно погладил рукой переплет книги. — Это «История ведовства и демонологии» Монтегю Саммерса . . . Из сугубо научной серии «Истории цивилизации» . . . Сам-

мерс — ученый теолог, а книга эта издана в Лондоне в 1926 году... Так что это вещь серьезная и современная... Надо только понимать, что за этим под-разумеается.

— Эх, ты, мракобес, — сказак Борис. — И за что только тебе доктора дали.

— Вот за это самое... Но с точки зрения диалектического материализма...

— Значит, квалификационная комиссия тоже пьяная была?

— Никакой комиссии не было, — ученик папы Иннокентия 8-го поставил книгу на место. — Мне доктора дал собственноручно сам Сталин.

— Врешь ты, — сказал младший.

Старший сделал большой глоток из своего отвратительного кубка-черепа, мотнул головой. Навалившись грудью на стол, он тупо уставился в кубок, словно рассматривал что-то на дне человеческого черепа:

— Все очень просто... Я разбил свою диссертацию на несколько независимых частей — по истории, по антроп-пологии, по псих-хологии и еще некоторым специальным предметам... Каждая часть была аннотирована лучшими специалистами Советского Союза в данной области... Каждая часть в отдельности, сама по себе, ничего особенного не говорит... Но когда сложить все части вместе, то получается то, что говорил папа Иннокентий — нечистая сила, как политический фактор... Все апробировано и подписано академиками, но как это сложить — это знаю только я... Да еще товарищ сатана...

— Ну и что толку, что ты знаешь?

— Как что? Эти черти — есть социальная зараза, пар-азиты... Опасность для всякого упорядоченного общества... А раз так, то это уже по линии НКВД...

Полковник государственной безопасности оживился и заерзал на стуле так, будто он сидел верхом на сатане:

— Я Сталину говорю: «Смотрите, Иосиф Виссарионович, это источник анархии и рев-волюции...» Он не верит. Тогда я беру мои материалы, складываю как нужно — и на основании документальных фактов, подтвержденных академиками, доказываю, как эта нечистая сила сначала способствовала анархии в царское время, а потом участвовала в Октябрьской социалистической революции... Все в точности, с именами, с фамилиями...

— И с адресами? — насмешливо вставил Борис.

— Конечно, — увлекшись, продолжал ученик папы Иннокентия. — Сталин сначала обозлился, а я ему говорю: «Минуточку, Иосиф Виссарионович... Все дело в одном слове... Это опасность для вся-кого-го упорядоченного общества... Поднимаете вся-кого-го!? Так что, если вы

считаете советскую власть упорядоченным обществом, то теперь эта же самая нечистая сила будет заниматься революцией против вас, то есть контрреволюцией . . . » И вот тут-то он призадумался . . .

Максим приложился к своему сосуду с водкой и икнул:

— После этого Сталин назначил меня . . . ик-к . . . особоуполномоченным по делам нечистой силы . . . ик-к . . . в составе Народного Комиссариата Внутренних Дел . . . ик-к . . . по всему Союзу Советских Социалистических Республик . . . Понял?

Сидя верхом на стуле, он погрозил пальцем:

— Только ты, Бобка, смотри . . . Никому это не говори . . . Это государственная тайна . . . А теперь, знаешь что . . . Я что-то со стула встать не могу . . . Положи-ка меня в постель и сними сапоги . . .

— И не подумаю.

— Поч-чему?

— Раз ты напился до чертиков, так пусть они тебе и сапоги снимают.

Про себя Борис решил, что брат все-таки помешался. Однако умопомешательство Максима, казалось, помогало его карьере. Вскоре он получил звание комиссара госбезопасности 3-го ранга, что соответствовало чину генерал-майора НКВД. Но его самого это несколько не радовало, словно в обмен на карьеру он променял свою душу дьяволу. В точности как это описывалось в средневековых книжках, которые он так тщательно штудировал.



От Редакции : В номере 13-ом журнала, на стр. 38 было помещено стихотворение «Смирение». Автором стихотворения ошибочно указан Николай Арсеньев. Настоящий автор этого стихотворения Редакции остается до сих пор неизвестен.

АЛЕКСЕЙ УГРЮМОВ.

ЗЕМЛЯ ЗОВЕТ

*

РАССКАЗ.

Доронину подходил к концу шестой десяток лет.

Он чувствовал и знал, что через короткий срок он должен будет оставить работу на заводе, что скопленные им небольшие сбережения и пенсия обеспечит ему возможность скромного, безбедного существования в остаток отведенных на его долю лет.

По пути из дома на завод и возвращаясь с завода, всегда по одному и тому же маршруту в течение почти трех десятков лет, он, как сам с удивлением заметил, с недавних пор стал любоваться садами, которые тянулись почти непрерывно вдоль тротуаров, — садами которых он раньше почти не замечал.

Теперь же он любовался коротко остриженными газонами, прихотливыми клумбами с цветами, дорожками, усыпанными желтым песком, пышно цветущими розами, кустами гвоздик, георгинов, высокими стрелками гладиолусов, а весной — по-невестински чистыми, нарядными и невинными, расцветавшими яблонями, грушами, тяжелевшими плодами к осени.

Когда он подметил в себе такую перемену, он даже удивился, не поверил самому себе, так как никогда красоты парков и садов не восхищали и не удивляли его, а тут, каждый день проверяя себя, он все более и более убеждался в том, что его действительно пленяли помпоны георгинов, соцветия гераний, наивные в полураскрытых бутонах и страстные в полном расцвете розы, яркие щеки наливавшихся яблок и почти прозрачная желтизна созревших груш.

Доронин был так удивлен этим открытием, так обескура-

жен происшедшей в нем переменной, что решил непременно найти объяснение всему этому, но, сколько ни думал, все не находил, а вместо объяснений рождались новые, совсем неожиданные и непривычные (прежде даже невозможные) мысли. Чем больше он любовался садами, тем больше оформлялось в его голове желание иметь клочек земли, чтобы копаться в нем и самому взращивать и розы, и груши.

С каждым днем, — нет, с каждым новым утром и с каждым новым вечером, когда он проходил мимо благоухавших садов, — это желание делалось все настойчивее, яснее, все больше занимало его; появилось сожаление, что вот у него нет клочка земли, на котором можно было бы поработать, вырастить яблони и георгины.

Эти мысли настолько заняли и встревожили его, что скоро вопрос о клочке земли сделался навязчивой идеей Доронина, и однажды, так же неожиданно, как родились мысли, появилось почти готовое решение о возможности на часть сбережений купить клочек земли :

«Пусть буду беднее, но у меня будет сад!»

Когда он решил купить землю и взвесил на весах своего сердца это решение, он вдруг понял произошедшую в нем перемену, понял трудности, с которыми созревало решение, понял глубину своего восхищения травой, растениями, цветами и плодами, вспомнил свои годы, почти белые волосы и серебряную бороду, и сразу же определил все двумя словами, которые объяснили ему все :

— Земля зовет ! —



Старик купил в пригороде небольшой участок земли, на котором стоял маленький ветхий домик с запущенным, заросшим сорняками, садом.

Все свободное от работы время он проводил теперь на участке: вырывал с корнями бурьян, подрезал кусты, ровнял и пропалывал клумбы, сажал луковицы тюльпанов и нарциссов; у низенького заборчика вдоль улицы он открыл заросшие травой кусты роз и прибавил к ним новые, посадил четыре молодых яблони, обрезал по краям предназначенную для газона площадку, вскопал ее, посеял на ней мельчайшие зерна и укатал землю.

Когда он работал и ощущал в руках сырость земли, он не мог отделиться от мысли: — Земля зовет! —

Зимой же, когда стало ветрено, дождливо и холодно, когда временами пошел тонкий и хрупкий искристый снег, Доронин приводил в порядок внутренность домика, и не потому, что ему был дорог этот домик, а потому, что ему была дорога земля, у которой он мог поселиться и наблюдать, как растут травы, цветы и деревья.

Его жизнь наполнилась новым интересом, и старик преобразился.

— Доронин наш помолодел, — говорили товарищи его по работе, и это было, действительно, так, несмотря на то, что теперь у него была еще дополнительная работа — в саду и в доме.

Но он был счастлив, он горел этой дополнительной работой и только теперь, на склоне лет, понял все величие природы и великолепие производимого землей, а с этим понял и то, почему поэты всех времен и народов воспевали и воспевают природу; Доронин сделался тоже немножко поэтом, хотя и не писал стихов.

Ранней весной он переселился в собственный домик и, в середине тридцать первого года своих хождений на завод по одному и тому же пути, стал ходить на завод другой дорогой, но так же присматривался к чужим — новым для него — садам, учился садоводству у самой природы, купил много новых руководств по садоводству; по ночам ему казалось, что он, одинокий в домике, слышит, как растут цветы, как в саду проклевываются через земную поверхность травы, как лопаются почки на деревьях, как набухают бутоны нарциссов и тюльпанов. И когда все, наконец, раскрылось и зацвело, он был в восторге, — впервые за много лет жизни в восторге.

Во время его работы в саду, к нему постоянно прилетала птичка — овсяночка, — маленькая, простенькая, невзрачная; ее крохотные глазки сверкали, как две бусинки, и он вспоминал, как сверкали глазки у его умершей дочурки. Ему казалось, что в маленькой овсяночке воплощена его девочка, что родная душа сопутствует ему в работе, и от этого из глаз старика вытекала, и не один раз, колкая слеза, а работа в саду казалась еще более приятной и легкой.

Летом вокруг маленького домика уже цвел молодой новый сад — это больше не был запущенный и заброшенный сад: старик Доронин выполол, обрезаю и усыпал песком дорожки,

поправил и выровнял у заборов длинные узкие клумбы, между которыми зеленела коротко подстриженная площадка газона, в палисаднике перед домом он насадил кусты темно-красных роз, а за домом, на узких клумбах цвели георгины, гладиолусы, гортензии.

Садика было не узнать, и соседи удивлялись энергии и, главное, умению старика.

— Где вы учились этому делу? — спрашивали они.

— Какому?

— Садовому, уходу за растениями.

— Здесь, только здесь; до этого я лопаты никогда в руках не держал, — улыбался старик.

Соседи с недоверием качали головами и решали, что «этот русский» или не понимает их, или не хочет им сказать, где он приобрел знания по работе на земле, по уходу за растениями.

Доронину казалось, что с ростом растений в его саду все больше молодела его душа, и он говорил пичужке с желтеньким брюшком:

— Я помолодел душой. И как прекрасна жизнь! Как восхитительны производящие силы земли!.. Только теперь я понял всю прелесть природы, всю роскошь ее проявлений и показываемую ею бесконечную свободу. Всего этого я раньше не замечал... Я стал молодым стариком, хотя и чувствую, что... земля зовет!

* * *

Через несколько лет, когда безжалостные годы до конца выбелили волосы на голове Доронина, он вышел на пенсию, жил попрежнему в домике и работал в саду.

Его сад сделался лучшим садом пригорода.

На небольшой площади сада красовались растения всех видов, цветов и размеров — от завитых листьев любящего хмурь папортника до свободолюбивых белоснежных лилий, от крупноягодного крыжовника до огромных янтарных груш, настолько нежных, что от неосторожного к ним прикосновения на глянцевиной коже плода тотчас выступали темные пятна.

Все восхищались садом старика, а он, бодрый и оживленный, повторял по-русски и иногда по-английски:

— Земля зовет!

Все уважали его, одинокого, чудаковатого, а он целыми днями пропадал в саду: подрезал, подвязывал, подпиливал, полыл, поливал, планировал, пересаживал, косил газон механической косилкой, опрыскивал розы и уничтожал вредителей растений.

Все росло, все цвело и зрело, все благоухало, и среди этих чудес земных то тут, то там мелькала седая голова и серебряная борода трудолюбивого старика.

Осенью облетали листья деревьев, увядали цветы; старик в широкополой шляпе любовно обрезаал отжившие ветви и выкапывал корни многих цветов для зимнего хранения.

Осенние дни, как и весенние — страдные, хлопотливые дни для садовода, надо все вовремя убрать, а то хватит первый заморозок, или вдруг повеет холодком утренничек — и прощай нежный великолепный цветок!

Наступила и старикова поздняя осень, с человеческими заморозками и утренничками.

Увезли старика из маленького домика в больницу.

Осиротел сад.

Овсяночка продолжала прилетать, клевала мурашей на отросшем газоне, да чиркала своими черными бусинками-глазками, поглядывая туда-сюда, все ища широкополую шляпу или серебряную бороду старика, но старик в саду не появлялся.

И птичка улетала.

Опять качали соседи головами и говорили, перебывая друг друга:

— Старик-то!

— Русский?

— Ну, да.

— А что?

— В больнице.

— Скажите! И сад, значит, опустел?

— Опустел.

— Эх, обидно! Чудный сад разделал старик!

— И как он его любил, как работал!

— До последнего дня...

— Помните, он всегда говорил странную фразу: «Земля зовет»?

— Да, да, вспоминаю, вспоминаю! Земля зовет. Что это значит?

... Голова старика Доронина лежала на белоснежной по-

душке; по тяжело вздымавшейся груди поверх одеяла веером разметалась белая пушистая борода; старик смотрел, уставясь глазами в одну точку, но был в полном сознании; перед ним проходила вся его жизнь, нелепая, страшная, горемычная, со взлетами и падениями, с надеждами и крушениями их, с потерями близких и дорогих.

Вдруг он улыбнулся.

Он вспомнил сад, ощутил в руке сырость черной земли, увидел цветы, газон, птичку-овсяночку; на него нахлынуло благоухание лилий и роз; во рту, казалось, таяла медовая сладость груш.

Он поднялся на локте и, широко улыбаясь, громко и внятно произнес:

— Земля зовет!

Стоявшая неподалеку медицинская сестра спросила:

— What did you say? — и внимательно посмотрела на больного.

Старик уже лежал на спине, с запрокинутой головой и с улыбкой на губах.

Он не дышал.



Е. Рубисова .

РАДУГА .

Краска, краска... от слова «краса»...
Расцветившая небеса,
Куда течешь ты, откуда,
Многоцветное чудо?
Из красного в желтое —
Через оранжевый,
Из желтого в синее —
Через зеленый,
Из синего в красное
Сквозь фиолетовый, —
Все цвета сочетались в радужной этой дуге.
Пусть радугой станет
Мысль о тебе!

— * —

ПАМЯТИ З. Н. ГИППИУС

Вечно-Женственное и вечно-женское в поэзии.

Первое — бесстрастно сияющее в надземной высоте «Целое», второе — «тень Вышнего», непрочный и преходящий отблеск, которому покорны все.

Зинаида Гиппиус остро ощущала «Целое» и, вероятно, именно верность этой «призрачной мечте» Вечно-Женственного спасала ее и помогала нести тот необщий крест «вечно-женского», который был ей дан судьбой.

ВЕЧНОЖЕНСТВЕННОЕ *)

Каким мне коснуться словом
Белых одежд Ее?
С каким озареньем новым
Слить Ее бытие?
О, ведомы мне земные
Все твои имена:
Сольвейг, Тереза, Мария...
Все они — ты Одна.
Молюсь и люблю... Но мало
Любви, молитв к тебе.
Твоим-твоей от начала
Хочу пребыть в себе,
Чтоб сердце тебе отвечало —
Сердце — в себе самом,
Чтоб Нежная узнавала
Свой чистый образ в нем...
И будут пути иные,
Иной любви пора.
Сольвейг, Тереза, Мария,
Невеста-Мать-Сестра!

*) ЗИНАИДА ГИППИУС. "Сияния" Париж. 1938.

С самого начала Зинаида Гиппиус поражала всех своей «единственностью», пронзительно-острым умом, сознанием (и даже культом) своей исключительности, эгоцентризмом и нарочитой, подчеркнутой манерой высказываться, наперекор общепринятым суждениям и очень злыми репликами.

«Изломанная декадентка, поэт с блестяще-отточенной формой, но холодный, сухой, лишенный подлинного волнения и творческого самозабвения» — так определяли Гиппиус.

И ее декадентские сюжеты — змеи, уродцы, колдовские и демонические мотивы, «беседы с дьяволом-наставником», и метафизика, общая всем символистам, — все это казалось «головным», блестяще и остроумно найденным, но внутренне опустошенным.

И только Иннокентий Анненский («Аполлон», книга III), говоря о ее «Собрании стихов» 1904 года, увидел то, что Зинаида Гиппиус тщательно скрывала, быть может, даже от себя самой:

— «В ее творчестве вся пятнадцатилетняя история нашего лирического модернизма».

«Я люблю эту книгу за ее певучую отвлеченность».

«Эта отвлеченность вовсе не схематична по существу, точнее — в ее схемах всегда сквозит или тревога, или недосказанность, или мучительное качание маятника в сердце».

Если бы Иннокентий Анненский мог прочесть «Сияния», он бы имел право сказать, что в 1904 году безошибочно верно почувствовал настоящую Зинаиду Гиппиус.

Декадентская поза, символические «бездны и тайны», «Бог и Дьявол», а также затем, после революции, неумение и нежелание понять значительность того, что произошло с Россией, ее «мстящие» и «гневные» стихи, — все это в конце жизни сменилось подлинно «человечными» нотами и даже «метафизика» стала иной, более примиренной, более мудрой.

Сергей Маковский, читая интимные дневники Зинаиды Гиппиус (в архиве Мережковского и З. Гиппиус, перешедшим к В. А. Злобину) нашел такую надпись:

— «Стихи я всегда пишу, как молюсь» — фраза до уди-

вительности отражающая внутреннюю сущность З. Гиппиус, если вдуматься.

Это, по Анненскому, как раз и есть то «мучительное качание маятника в сердце», которое прорывается, просвечивает сквозь всю «певучую отвлеченность» ее прежних стихов и раскрывается в «Сияния».

Но «молитва», в стихах, о которой говорит Гиппиус в своей записи, не легко давалась ей именно благодаря диапазону качания маятника в ее сердце.

Об отношении Зинаиды Гиппиус к религии и к духовным вопросам, о ее демонизме и «ведьмовском начале» написано, особенно после ее смерти, столько противоречивого, что даже неприятно вспоминать некоторые рассуждения о ее «колдовстве» и «чертовщине».

В конце прошлого и в начале нашего века у декадентов и символистов проблема зла, Люцифер, Сатана и борьба двух Начал, были в центре внимания и многие доходили до чрезвычайных экстравагантностей.

Зинаида Гиппиус в молодости отдала дань духу времени, но сколько в тогдашних ее стихах было поэзы и напускного желанья «поразить», и сколько искреннего — определить очень трудно.

Мы, прежнее «младшее литературное поколение», т. е. писатели и поэты, начавшие писать уже в эмиграции, постоянные посетители «воскресений» у Мережковских и «Зеленой Лампы», застали Зинаиду Гиппиус уже другой — более близкой к вечной теме «Сияний», чем к ее прежней поэзии.

В ней было много горечи и разочарования, она всячески старалась понять новый мир и нового человека, который в чем-то основном от нее ускользал.

Ее влекло рассмотреть, чем этот человек жив, во что он верит и что в нем наиболее подлинно?

Но подлежащие расшифровке «новые люди», в большинстве, не были склонны открывать свое «внутреннее» — эпоха была не та. И в решительный момент, в самом важном вопросе, Зинаида Гиппиус вдруг оказалась в одиночестве.

Верила ли Зинаида Гиппиус так же как верил Мережков-

ский, в Бога, в бессмертие души и в «метафизику», о которой она говорила всю свою жизнь?

У Мережковского — (лучшее в нем) постоянно бывали прорывы интуиции, тогда как по складу своего ума, Гиппиус была рационалисткой.

Она верила умом, сердцем хотела веры, но ей было отказано в тех интуитивных прозрениях, которые, например, знал Блок.

— «Невозможно сказать, — пишет З. Гиппиус в своей статье о Блоке «Мой лунный друг», — «чтобы он не имел отношения к реальности; еще менее, что он «не умен». А между тем все, называемое нами философией, логикой, метафизикой, отскакивало от него, не прилагалось к нему».

А сам Блок начал сторониться Мережковских именно потому, что у них с легкостью «все время говорят о несказанном».

Возможно, что Гиппиус знала о своей ограниченности в этой области, — не потому ли она так легко всегда уступала Мережковскому «последнее слово»?

Несмотря на весь свой блеск и остроту, несмотря на уверенность в правоте своего мировоззрения (эта уверенность, вероятно, тоже была известной позой), в Гиппиус чувствовалась иногда сознание безысходности, невозможности до конца понять, тогда как Мережковский, менее ее «заостренный интеллектуально», каким-то иным способом преодолевал мировое неблагополучие, — может быть, искренним ожиданием «конца этого мира».

Об отношении Зинаиды Гиппиус к любви, тоже после ее смерти, писали очень много, иногда — возмутительно нецеломудренно, вплоть до публикации самых интимнейших ее писем и писем к ней.

Именно поэтому мне сейчас не хочется говорить о ее любовной теме.

Но если у кого-нибудь из наших поэтов-женщин и была тоска по Высшему Образу Любви и стремление прорваться к нему сквозь преграду личного, эротического, интеллектуально-земного (т. е. умственно усложненного), то поэзия Зинаиды Гиппиус может этому служить примером.

«Победы» в этой области, равно как «очарования», «прелести» и «душевной теплоты» в ней быть не могло.

Но в ней есть порою холодный блеск взлетающей с земли ввысь ракеты, обреченной неминуемо разбиться о какое-нибудь небесное тело, не будучи в состоянии вернуться назад и рассказать нам о том, что там происходит.

И еще: много горя, боли, одиночества.

— «Хочу того, чего нет на свете» — сказала еще в молодости Зинаида Гиппиус.

В этом, быть может, секрет ее «единственности».

АЛЕКСАНДР БИСК.

ГОРЕ ОТ УМА

(К минувшему 120-летнему юбилею)

— 0 —

«Горе от ума» — одно из тех редких произведений, которые стали знаменитыми в самый день своего рождения. Пушкин тотчас же предсказал, что «половина стихов должна войти в пословицу».

И если сам Пушкин в «Онегине» иронически мечтал о том, что у нас «стихи введут в употребление», то «Горе от ума» оправдало эти мечты всерьез: достаточно привести несколько выражений, которые прочно вошли в обиходный язык: «Счастливые часов не наблюдают». «Кто беден, тот тебе не пара». «Подписано, так с плеч долой». «Блажен, кто верует; тепло ему на свете». «Читай, не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой». «Служить бы рад, прислуживаться тошно». «Свежо предание, а верится с трудом». «Ну как не порадеть родному человеку». «Когда нам скажут что хотим, куда как верится охотно». «Чины людьми даются, а люди могут обмануться». «Всё врут календари» (У Грибоедова так именно и сказано: всё врут календари, а не все врут календари, как обыкновенно говорится и как много лет печаталось в разных изданиях). «Рассудку вопреки, наперекор стихиям». «Послушай, ври, да знай же ме-

ру». «Шумим, братец, шумим — шумите вы, и только!» «Ах, Боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексевна». Наконец, несомненно благодаря «Горю от ума» сохранился в обиходе и измененный державинский стих: «И дым отечества нам сладок и приятен».

Этот краткий перечень крылатых словечек с достаточной ясностью показывает, чем мы обязаны Грибоедову.

Но не только литературные достоинства — острые слова, прекрасные стихи и идейное содержание привлекают нас. Человеку, кроме потребности в красоте, свойственно и любопытство. Все неразгаданное влечет его, а по линии удовлетворения любопытства «Горе от ума» представляет собой безграничные возможности.

Начнем с того, что Грибоедов не оставил окончательного, собственно-ручного написанного текста комедии.

Весной 1823 г. Грибоедов привез в Москву с Кавказа первые два действия. Остальные два были написаны летом 1823 г. в деревне его друга С. Н. Бегичева. Рукопись эту Грибоедов подарил Бегичеву: в русской литературе она известна под названием бегичевской рукописи или Музейного Автографа и опубликована лишь в 1903 г.

Наконец, перед своим последним отъездом в Персию в 1828 г., Грибоедов передал имевшийся у него тогда на руках список Фаддею Булгарину с надписью: «Горе мое поручаю Булгарину»; в этой рукописи Грибоедов тоже сделал несколько поправок.

Пьеса не была пропущена цензурой ни для печати, ни для театра. Это возбудило сугубый интерес среди публики. Комедия начала ходить в списках по всей России. По утверждению историков, разошлось сорок тысяч рукописных экземпляров «Горя от ума».

Можно себе представить, что получилось в конце концов от всех этих копий с копий, какое количество описок, ошибок и безграмотной галиматии вралось в текст. Нашлось не мало доморощенных поэтов, которые переделывали некоторые стихи на свой вкус и добавляли другие, собственного производства.

Когда, наконец, через много лет, комедия была разрешена к печати, то оказалось, что в распоряжении издателей имеются разноречивые сомнительные списки. Имя Фаддея Булгарина было всегда одиозным в русском передовом обществе; естественно, что то, что выходило из его рук, не пользовалось доверием, а некоторые издатели предпочитали прибегать к другим источникам.

Сегодня, когда в нашем распоряжении, среди разных сохранившихся рукописей, имеются три, о которых по крайней мере известно, что Грибоедов держал их в своих руках, является вопрос: какой же текст считать законным?

Логически должно было бы казаться, что самый правильный — позднейший, т. е. болгаринский текст. Однако при тщательном изучении, оказывается, что это вовсе не так. Вот признание самого Грибоедова: «первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха, заставили меня портить мое создание, сколько можно было».

Из всех этих компромиссов ничего не получилось; комедия в целом была неприемлемой для Царского правительства, несмотря на все жертвы Грибоедова.

Ему так и не удалось увидеть свое детище ни на сцене, ни в печати, за исключением отрывков, напечатанных в 1825 г. в «Русской Талии» Булгарина. Здесь был напечатан конец первого и третье действие со многими пропусками. Начало первого действия не было пропущено цензурой, как безнравственное, а второе и четвертое — как политически-неблагонадежные.

Из вышесказанного вытекает первое императивное условие: при выборе окончательного текста, мы должны отбросить все исправления, которые сделаны Грибоедовым в угоду цензуре, и вернуться к первоначальному тексту.

Некоторые стихи были, по всей вероятности, переделаны Грибоедовым потому, что являлись вызовом общественной морали; и в то время существовало не мало пуританских кумушек, которых Грибоедов боялся затронуть. Вот забавный пример: в обычной редакции Скалозуб, обидевшись на упоминание о гвардии, возражает:

“А в первой армии когда отстали? в чем?
Все так прилажено, и тальи все так узки,
И офицеров вам начтем,
Что даже говорят иные по-французски”.

Здесь Грибоедов пожертвовал двумя строчками. Раньше было сказано:

“А в первой армии как выправлен солдат?
Мундиры пригнаны по тальям, все в обхват.
И платья нижние облепены так узки,
В шаг доходят, как ни в чем;
И офицеров вам начтем,
Что даже говорят иные по-французски”.

Наконец, и об этом приходится говорить с тяжелым чувством, надо признать, что Грибоедов был рабом рифмы. В первой, бегичевской, рукописи, было много не вполне созвучных рифм. Я не хочу этим сказать, что рифмы были плохие; с нашей сегодняшней либеральной точки зрения в этом вопросе, большинство рифм было вполне приемлемо, напр. «клуба» и «любо». Поэты нашего времени считают подобную рифму вполне за-

конной, но Грибоедову хотелось рифмы полнейшей, не только по звуку, но и по написанию. И вот, он не только переделывает конец 4-го действия; в июле 1824 г. он пишет Бегичеву: «представь себе, что я слишком 80 стихов, или, лучше сказать, рифм переменил; теперь гладко, как стекло».

К сожалению, это стало так гладко, что Грибоедов поскользнулся; для того, чтобы достичь этой полноты рифмы, он, не стесняясь, коверкал русские слова.

Не подлежит сомнению, что там, где Грибоедов остановился на более слабом тексте ради полнозвучной рифмы, мы вправе восстановить более раннюю редакцию.

Наконец, у Грибоедова, вследствие небрежной работы, есть множество описок и противоречий в правописании — и здесь необходим критический отбор.

Этими положениями намечается путь, по которому исследователь должен идти, чтобы определить, какой вариант выбрать для окончательного издания «Горе от ума».

Наличие разных текстов не есть единственная причина, которая возбуждает священное любопытство тех, которые любят «Горе от ума». И в наше время еще можно найти не мало лиц, знающих «Горе от ума» наизусть. В Грибоедовскую эпоху такие люди считались сотнями. Что же удивительного в том, что такой любитель, повторяя про себя неоднократно любимые стихи, комментируя их на все лады, останавливался в недоумении, натываясь на разные неувязки, несообразности, нелепости, а их, к сожалению, в «Горе от ума» не мало. Глубоко заблуждаются те, которые считают, что это «не важно», что это «придирки к пустякам». Китайский зритель знает, что, если актер стал на стул, то это означает, что он поднялся на верхний этаж, но мы, европейцы, не можем примириться с подобным самообманом. Внимательный зритель не может относиться равнодушно, слушая и видя Чацкого во фраке и выбритого, громающего фраки и бритые — об этом писал еще Добролюбов.

Множество исследователей изоцрилось в том, чтобы как-то объяснить, примирить противоречия, но, при любом объяснении, обнаруживаются какие-то иррациональные остатки, не уместающиеся в этих искусственных построениях.

Наше любопытство — вполне законное; мы хотим разгадать и понять любимое произведение без остатка; не только то, что происходит сегодня на сцене; мы хотим знать, что персонажи делали до спектакля за кулисами. Каждая неясность для нас — помеха.

Это то, что проф. Пиксанов в своей «Творческой Истории «Горя от ума», изданной в 1928 г., скромно называет «мелкими недостатками сценария». По его указанию, к этим странностям относятся напр., следующие места: Софья и Молчалин всю ночь занимаются музыкой, не боясь

разбудить отца и челядь; Чацкий является с визитом в шесть часов утра; Молчалин несет разбирать бумаги, которых у него очевидно нет с собой; Чацкий, после того, как все от него, безумного, отшатнулись, преспокойно остается на балу ужинать и уезжает к рассвету, вместе со всеми, и т. д. Я не буду повторять и разбирать то, что уже найдено другими, и приведу только те курьезы и неувязки, которые мне пришлось обнаружить самому.

Вот первый простой вопрос, который должен прийти в голову наблюдательному читателю: сколько лет Чацкому? Я не нашел нигде никакой полемики по этому вопросу. По театральной традиции, Чацкому года 23 (хотя и был один актер, игравший его сорокалетним человеком).

Возьмем все данные, имеющиеся в пьесе: Чацкий был в отсутствии три года. Об этом Грибоедов, можно сказать, назойливо, повторяет неоднократно: первая упоминает об этом Лиза: «бедняжка, будто знал, что года через три...». Затем, Фамусов встречает его: «три года не писал двух слов, и грянул вдруг, как с облаков». Чацкий сам про себя говорит: «Ах! тот скажи любви конец, кто на три года в даль уедет» и «Неужто так меня три года изменили». О Молчалине он замечает: «Быть может он не тот, что три года назад». Поэтому, факт, что Чацкий был в отсутствии три года, следует считать прочно установленным.

По возвращении Чацкого, Софье семнадцать лет. Это тоже не подлежит сомнению, согласно реплике Чацкого: «Теперь, в семнадцать лет вы расцвели прелестно».

Вернемся несколько назад и проследим, что мы знаем о ранней юности Софьи и Чацкого. В списке действующих лиц, напр., в «Талии», значится: «Чацкий, молодой человек возвратившийся из путешествия, воспитанный вместе с Софьей». В старой редакции, в «Музейном Автографе», Лиза опять первая дает нужные сведения: «вот с ним-то прямо с малых лет росли, развились, вечно двое». Дальше Софья говорит: «Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли; привычка вместе быть день целый неразлучно связала детскою нас дружкой». Сам Чацкий вспоминает: «Мы с вами явились, исчезнем тут и там. Играем и шумим по стульям и столам. Или ваш батюшка с мадамой за пикетом; мы в темном уголке и кажется что в этом! Вы помните? Вздогнем, что скрипнет столик, дверь» . . . Затем, дальше: «Наш ментор, помните, колпак его, халат, перст указательный, все признаки ученья, как наши робние тревожили умы» . . . Наконец, в третьем действии, Чацкий обращается к Софье: «Как человеку вы, который с вами взрос, как другу вашему, как брату» . . .

Во всех этих ссылках видна общность переживаний: вместе воспитывались, вместе бегали по стульям и столам, вместе дрожали, что скрипнет столик, дверь, вместе боялись учителя, а это возможно, только если дело идет об однолетках или о небольшой разнице в годах. Нет ни ма-

лейшего указания на то, что взрослый юноша воспитывался вместе с девочкой-подростком. Следовательно, если Софье теперь 17 лет, то Чацкому, на основании приведенных цитат, может быть 17, 18, 19, максимум 20 лет, и ему было никак не более семнадцати, когда он покинул Москву. Наконец, и это важно по линии психологии творчества, самому Грибоедову было 17 лет, когда он поступил на военную службу и надолго покинул Москву; здесь известный параллелизм напрашивается сам собой.

Теперь рассмотрим вопрос с другой стороны. За эти три года Чацкий много путешествовал. Я не привожу цитат, их слишком много, да это и не возбуждает сомнений. Он был в разных краях, но он служил и в России на гражданской службе и занимал не малый пост, общался с министрами (Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, из Петербурга воротясь, с министрами про вашу связь, потом разрыв . . .). Это несовершеннолетний-то юноша! Наконец, Чацкий — член Английского клуба:

Потом, подумайте, член Английского Клуба,
Я там дни целые пожертвую молве
Про ум Молчалина, про душу Скалозуба.

Чацкий был в отсутствии три года; мы встречаем его прямо с дороги; естественно предположить, что он был принят в члены солиднейшего клуба до отъезда, т. е. несовершеннолетним в возрасте шестнадцати лет, что совершенно невероятно. Наконец, Чацкий имеет свой дом. (Не заезжал домой. Прощайте! через час явлюсь . . .). Он и сам управляет имением («Именьем, брат, не управляй оплошно»; «имел душ сотни три»). За эти три года он побывал вероятно и в своем имении. («Кто путешествует, в деревне кто живет»). Если принять во внимание министров, Английский клуб и управление имением, то окажется, что Чацкому по возвращении никак не может быть менее 24 лет, т. е., что он на семь лет старше Софьи. При такой разнице в годах совместные путешествия по стульям и столам кажутся мне весьма сомнительными. Тут неувязка по меньшей мере в четыре года. Это та стена, перед которой должен стать втупик любой поклонник Грибоедова.

Неувязка в возрасте Чацкого нигде в московской юбилейной критике не была отмечена; быть может именно потому, что объяснить ее удовлетворительным образом невозможно, а, по моему предположению, русские писатели, находящиеся на принудительной службе у советского правительства, получили к юбилею определенное задание: признать Грибоедова безгрешным во всех отношениях. Но об этом позже.

Перейдем теперь к другому вопросу: где был Чацкий в течение этих трех лет, и что он делал? Эта тема необычайно благодарная, здесь для фантазии исследователей открыто широчайшее поле. Начнем с того, что по первоначальному замыслу Грибоедова Чацкий должен был оставаться

в отсутствии всего 2 года. Во всяком случае, лица, видевшие «Музейный Автограф» утверждают, что в стихах:

''Ах! тот скажи любви конец,
Кто на 3 года в даль уедет''

цифра «3» написана по выскобленному месту, и по оставшимся следам видно, что раньше здесь была написана цифра «2».

Я должен остановиться на этой детали, как на чрезвычайно важном моменте в психологии творчества, не только Грибоедова, но и каждого писателя. Еще в средне-учебных заведениях нас учили, что для того, чтобы написать сочинение, нужно раньше всего составить план. Несомненно, у каждого автора такой план имеется, по крайней мере в голове. Но в процессе творчества у поэта начинают появляться новые идеи, благодаря чему ранее выработанный план подвергается изменениям; это вызывает необходимые поправки в части уже написанной, и обыкновенно случается так, что поправки производятся лишь частично, а кое-что из старого, непригодного для измененного плана, остается неисправленным; тогда, для сведения концов с концами, приходится изменить часть нового текста и приспособить его к предыдущему. В общем, получается Тришкин кафтан.

Если мы будем подходить к великим писателям не как к идолам, а как к людям, пусть исключительным, но все же способным не только творить, но и ошибаться, то мы можем выработать определенную формулу и по отношению к «Горе от ума». Это произведение есть синтез блестящих афоризмов, живописнейших сцен, вдохновенных монологов, прекрасных стихов, но плохо спаянных друг с другом. Весь гений Грибоедова ушел в определенном направлении; воздадим ему должное, но не будем стараться уместить всю комедию в логические клеточки.

Итак, Чацкий путешествовал долго, уехал по доброй воле, без определенной цели, для собственного удовольствия. Непонятно только: почему он «слезами обливался как с вами расставался», как Лиза говорит Софье. Кто его неволил уехать? Да и Софья вторит: «Ах! если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко».

В «Музейном Автографе» мы находим указание на то, что Чацкий путешествовал по многим странам, так он говорит в последнем монологе:

«По прежнему пушусь во все края глядеть». В этой же рукописи есть два места, из которых видно, что Чацкий был за эти 3 года и в России. В первой, вычеркнутой, редакции, после реплики о тетушке, девушке-Минерве, есть упоминание о докторе Фадиусе, которого Чацкий встретил в Визме. Есть и намеки на его пребывание на Кавказе. Да и в наше утро Чацкий, как видно, приехал из Петербурга: «Я 45 часов глаз мигом не прищуря, верст больше семисот пронесся» — все это, по вычислению

специалистов, соответствует данным путешествия из Петербурга в Москву. Чацкий жил несомненно и в своем имении («Кто путешествует, в деревне кто живет»).

Наконец он был на гражданской службе. Молчалин говорит ему:

”Татьяна Юрьевна рассказывала что-то
Из Петербурга воротясь,
С министрами про вашу связь,
Потом разрыв “... .

Значит, он жил, вероятно, и в Петербурге.

Но большинство советских критиков не удовлетворяются этой схемой. Им не достаточно долгих путешествий по разным странам, включая Россию, жизни в деревне, гражданской службы; они утверждают, что, помимо всего этого, Чацкий был в этот период и на военной службе. Я категорически утверждаю, что в комедии нет никаких указаний на то, что Чацкий был военным, и что это общепринятое мнение основано на простом недоразумении.

В самом деле, кардинальное место, которое служит якобы доказательством того, что Чацкий служил в Армии, следующее:

В третьем действии Чацкий говорит Горичеву: «Не в прошлом ли году (по другой редакции: не в третьем ли году), в конце, в полку тебя я знал? лишь утро: ногу в стремя и носисься на борзом жеребце».

С первого взгляда как будто бы ясно: «в полку тебя я знал», т. е. Чацкий служил в одном полку с Горичевым. Однако при ближайшем рассмотрении дело представляется иным. Оказывается русскому человеку недостаточно знать один русский язык для комментирования произведения русского классика, а не мешает порой знать и иностранные языки, в данном случае — французский. Здесь выражение «В полку тебя я знал» есть стопроцентный галлицизм, столь обычный для грибоедовской эпохи, точнейший перевод французской фразы: «Je te savais au régiment», а это значит на языке нашего времени: «Я знал о том, что ты в полку», из этого не следует, что «я служил вместе с тобой». Чацкий мог встречаться с Горичевым, живя по соседству в своей деревне.

В ту эпоху русский язык кишел галлицизмами; я нашел в письме Грибоедова к Бегичеву от 9 декабря 1826 г. следующую красочную фразу: «Коли в Москве будешь, схвати удобный случай и напиши». Это тоже буквальный перевод с французского: «Saisis l'occasion». Или у Фонвизина: «Я любопытен знать», т. е. «je suis curieux de savoir».

Да стоит ли говорить о тонкостях французского языка, когда Академия Наук СССР (47-48 кн. «Литературного Наследства») делает ошибки и погрубее. Воспроизводя обложку «Горя от ума», изданного на французском языке в бельгийском городе Gand в 1884 г., редакторы тут же дают невежественный перевод: «Ганд 1884», не зная очевидно, что русский

язык с незапамятных времен воспринял для этого города фламандское название «Гент», совершенно так же как и для всех остальных географических названий Фландрии: Антверпен, Брюгге, Шельда, и т. д.

Итак, наши критики просто не учли значения галлицизма «В полку тебя я знал» и поняли эту фразу в свете синтаксиса сегодняшнего дня.

Главную опасностью для переводчиков и комментаторов являются не слова и выражения технические и непонятные; при известном прилежании, путем справок, их смысл можно разгадать. Самые коварные случаи — те, которые с виду якобы совершенно понятны и не возбуждают никаких сомнений. Вот типичный случай, который произошел на лекции одного очень умного и талантливого журналиста.

Лектор, по ходу своей темы, рассказывал о том, что он был в Сирии и говорил с французским комиссаром, который будто бы сказал ему: «знаете, арабы — печальный народ». Докладчик добавил, что его удивило это выражение в устах комиссара. Меня в первую минуту — тоже: действительно, отношение французов к своим колониальным народам известно, да и что это за поэтические излияния в устах военного человека? Но разгадка напрашивалась сама собой: лектор, человек весьма образованный, знал вероятно французский язык довольно поверхностно. Если бы комиссар сказал ему «*c'est un peuple triste*», то это действительно значило бы, что это — печальный народ, но, несомненно, комиссар поставил прилагательное впереди существительного и сказал: «*c'est un triste peuple*», а это означает совсем другое, а именно: «это народ прохвостов».

Допустим теперь на минуту, что Чацкий, кроме долгих путешествий по разным краям, гражданской службы и жизни в своей деревне действительно успел за эти три года побывать и на военной службе. В каком он чине? Его друг Горичев несомненно ротмистр. Это последний обер-офицерский чин. Чацкий спрашивает его: «Ты обер или штаб?» Значит, до штаб офицерского чина ему в «прошлом» или в «третьем» году осталось пройти максимум одну ступеньку. Трудно предположить, чтобы чин Чацкого в этом случае был на много ниже чина Горичева. Вряд ли ротмистр дружился бы с прапорщиком или корнетом. Ведь Чацкий разговаривает с ним не как низший с высшим, а как равный: «Ба! друг старый». «Платон любезный, славно. Похвальный лист тебе, ведешь себя исправно». спрашивается, когда же Чацкий успел пройти всю гамму офицерских чинов, помимо путешествий и прочего?

Подумали ли об этом те многочисленные комментаторы, которые, на основании одной плохо понятой фразы, записали его в армию?

Я готов привести в защиту не свою, а моих противников еще один аргумент. На первый взгляд — это сильный козырь в руках тех, кто стоит за «военную службу». Существует рукопись Бехтеева; это — ко-

пия, сделанная непосредственно с «Музейного Автографа», т. е. самой старой рукописи «Горе от ума». В Бехтевской рукописи в списке действующих лиц значится: Платон Михайлович, сослуживец Чацкого. Горичев был военный; значит, если Чацкий его сослуживец, то он служил вместе с ним в армии. Но и здесь козырь оказывается в стиле втертых очков. Дело в том, что в «Музейном Автографе» не имеется списка действующих лиц, следовательно Бехтеев присочинил его сам, для собственного удобства; эта приписка «сослуживец» есть его личная фантазия и доказывает только что он, так же, как и другие, не понял фразы «В полку тебя я знал».

Итак, в пьесе нет решительно никакого указания на то, что Чацкий когда-либо был на военной службе.

Я остановился так подробно на этом вопросе главным образом потому, что советская юбилейная критика настойчиво указывала на то, что Чацкий был в свое время военным. Это и понятно. Из Чацкого хотят сделать в пропагандных целях правоверного декабриста, а кто, как не военные, играли главную роль в декабристском движении.

Просто непостижимо, к каким передержкам прибегают, чтобы доказать из всех сил, что Чацкий за эти три года успел быть и на военной службе. Особенно отличилась в этом отношении проф. Нечкина, автор монументального труда «Грибоедов и декабристы», в котором много полезных сведений, но, в общем, больше прилежания, чем глубины и критического подхода к теме. Иногда фантазия г-жи Нечкиной увлекает ее в явные несоответствия с хронологией. Так, чтобы «объяснить» тот факт, что Чацкий был и за границей, и на военной службе, и на гражданской, она амальгамирует эти три занятия в одно и выставляет гипотезу, что Чацкий служил в гвардии во время заграничных походов и был «откомандирован» из войск для дипломатической службы (откуда «связь с министрами»); что, наконец, по окончании оккупации Парижа, он сел в Шербурге на корабль, как и все гвардейцы, и прибыл в Кронштадт. В виду того, что обо всем этом у Грибоедова нет ни одного слова, г-жа Нечкина вызывает в суд в качестве свидетеля — Пушкина! В последней главе «Евгения Онегина», Онегин приезжает «как Чацкий с корабля на бал». И в этом г-жа Нечкина видит доказательство того, что Чацкий прибыл в Россию морем.

Все это было бы только курьезно, если бы г-жа Нечкина не перепутала хронологии. Действие «Горе от ума» происходит в 1822 г., когда все русские полки давным давно вернулись в Россию.

С Пушкиным г-жа Нечкина вообще «на дружеской ноге». Так, она скорбит о том, что не найдено никаких документов, доказывающих, что и на Кавказе существовало Тайное Общество, и что самый вопрос о деятельности декабристов на Кавказе находится под сомнением. Но для г-жи

Нечкиной нет ничего невозможного: она такой документ раздобыла, а именно среди стихов Пушкина, который обращается к Кюхельбекеру 19 октября 1825 года:

”Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви“.

«О бурных днях Кавказа» — что же это может значить, как не деятельность декабристского общества? И на таких солидных данных построена ее книга.

Возвращаясь к курьезам в «Горе от ума», я ставлю вопрос, который покажется комическим, но он явился у меня, его могут поставить и другие: когда, собственно говоря, Софья и Молчалин спят? Утром, когда начинается комедия, мы застаем их после бессонной ночи — они музицировали до рассвета. Днем Софья снова велит позвать к себе Молчалина; на следующую ночь, после бала, она посылает за ним Лизу и сходит сама, а вечером, если ночной инцидент в сених закончится благополучно, она отправится в театр: Загорецкий приподнес ей билет. Конечно, скажут, пустилки, но все это — тот же стул в китайском театре.

В «Музейном Автографс» Чацкий говорит: «Так рано на ногах — и я у ваших ног».

Не знаю почему Грибоедов счел нужным исправить это на: «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног», — и получилась забавная двусмысленность. Эту строчку можно читать иначе: «Чуть свет, уж на ногах». Грибоедов и его друзья не обратили на это внимания, но это заметили другие, пусть через сто лет.

«Горе от ума» было восторженно принято русским передовым обществом; помимо художественных качеств, оно отвечало настроению момента. Комедия стала известна в 1823 году. Воздух был насыщен декабристскими идеями. В «Горе от ума» общество усмотрело протест против несправедливого правительства и высших чиновников, против крепостного права, развратных помещиков. В противоположность «Липецким Водам» князя Шаховского, произведению далеко не бездарному, но которое высмеивало новые идеи, «Горе от ума» пришлось ко двору, и, в течение многих лет, в нем видели защиту радикальных идей. Порой высказывались и иные мнения, в частности Достоевским, но только в 1886 г. «Горе от ума» было впервые использовано полностью в реакционных целях. В этом году была напечатана статья Суворина, который, по своему талантиво, доказал, что Чацкий не революционер, а предшественник славянофилов: он защищает старую русскую одежду, а Грибоедов насмехается над секретнейшим союзом Репетилова.

И вот по этому поводу г-жа Нечкина произнесла по адресу Суворина замечательную фразу. Она говорит буквально следующее: «Надо было

сделать Чацкого «своим» и, не отказываясь от такого богатства, как «Горе от ума», сделать последнее орудием своей пропаганды».

Г-жа Нечкина попала не в бровь, а в глаз, да только не в суворинский, а в свой собственный. Ее блестящую формулу можно полностью применить к тому, что московские литераторы натворили в юбилейные дни.

Точно так же, как это сделал в свое время Суворин, теперешняя власть, за неимением прямых славных предков, делает Чацкого «своим» и пользуется «Горем от ума» для своей пропаганды. Г-жа Нечкина предусмотрительно находит и цитату из Ленина: «декабристы страшно далеки от народа. Однако они «лучшие из дворян» и помогли разбудить народ. Их дело не пропало».

Нужно ли говорить о том, что эта цитата предопределяет отношение советской критики к «Горю от ума». Не знаю, сознательно ли г-жа Нечкина в другом месте ссылается на Герцена, который «тоже» сказал, что декабристам на Сенатской площади не хватало народа. От этого соседства ленинская цитата, конечно, сильно тускнеет.

Лучше бы некоторых вопросов из стыдливости не касаться. Так, г-жа Нечкина и Компания упорно нам напоминают о том, что декабристское движение родилось из того чувства, которое испытали русские военные, участники заграничных походов, когда они «посмотрели, да посравнили» западную Европу с отечественными условиями. Мы знаем и о других русских войсках, также очутившихся за границей и испытавших то же чувство, да только это случилось лет на 130 позже.

Великое произведение есть волшебный колодезь, из которого каждый может черпать тот напиток, который он сам желает получить. Не удивительно, что советские критики, так же использовали «Горе от ума», как это сделал Суворин, но в противоположном направлении. По известным причинам, литература о декабристах очень бедна. Эта *tabula rasa* была чрезвычайно удобной канвой, по которой можно было вышивать что угодно. Декабристы были провозглашены форпостом современной идеологии, хотя вряд ли кто сомневается в том, что если бы декабристы попали в лапы теперешних заправил, они были бы немедленно ликвидированы в московских подвалах, как контр-революционеры и социал-предатели.

А так как полумер и соглашательств там не признают, то очевидно велено было признать «Горе от ума» безупречным во всех отношениях, включая и художественную сторону.

При небольшой ловкости рук можно было не обращать внимания на то, что Герцен, на которого главным образом ссылается советская критика, очень осторожно подошел к Чацкому. В 1868 г. Герцен окончательно сформулировал свое отношение к «Горю от ума». Он писал: «если в лите-

ратуре сколько-нибудь отразился слабо, но с родственными чертами тип декабриста — это в Чацком».

Но — «когда нам скажут что хотим, куда как верится охотно». Этого намека Герцена было достаточно, чтобы сделать из Чацкого и, конечно, из Грибоедова, стопроцентного декабриста. Для этого можно позабыть и о Репетилове и об известной фразе Грибоедова о том, что «сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт в России», но за то выражение Грибоедова в письме к Бестужеву от 22 ноября 1825 г.: «вспомнил о тебе и о Рылееве, которого обними за меня искренне, по республикански» принимается совершенно всерьез и комментируется на все лады, ибо эта фраза полезна для предложенного задания, несмотря на то, что в этом же письме Грибоедов кланяется заплывшим реакционерам — Гречу и Бугарину.

Поэтому, среднее решение, как оно представляется человеку без предвзятой навязчивой идеи — т. е., что Чацкий есть обыкновенный молодой человек, радикально настроенный, честный, желающий процветания своей родине, — отбрасывается. А ведь мы все были Чацкими в период освободительного движения. Что может быть проще гениального определения Гончарова: Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. Но этот умеренный подход не может удовлетворить г-жу Нечкину.

Г-жа Нечкина особенно настаивает на показаниях, данных в Следственной Комиссии, в частности Рылеевым, о том, что Грибоедов был осведомлен о существовании декабристской организации. Другие показывали, что Грибоедов был членом Общества; третьи — что в числе причин, побудивших их применить к декабристам, было чтение «Горя от ума». Ко всем этим показаниям надо подходить, конечно, с осторожностью, и не г-же Нечкиной, живущей в Сов. России, говорить о ценности показаний у следователя.

Несмотря на некоторую небрежность, язык Грибоедова — живая речь. Он пишет так, как он говорит, это здравый реалистический подход к языку; множество выражений, которые нам сегодня кажутся искусственными, взяты из ежедневного обихода того времени. Я нашел много примеров этому в письмах как самого Грибоедова, так и его друзей, а также в его других произведениях.

Грибоедов пишет Бегичеву 15 апреля 1818 г.: «не дурачься, не переходи в армию; так тебе Бог знает когда достанется в полковники». А Скалозуб говорит: «мне только бы досталось в генералы». Грибоедов — Бюхельбергу 1-го января 1823 г.: «Куда девалось то, что мне душу наполняло какой-то спокойной леностью». Чацкий буквально повторяет это: «Весь чад и дым надежд, которые мне душу наполняли».

По поводу выражения «армонка», которое употребляет Хлестова, подобострастные критики восхищаются, как прекрасно схватил Грибоедов

ее замоскворецкое наречие. И ничего типично-замоскворецкого в этом слове нет. Это же слово употребляет петербургский офицер Рославлев в комедии Грибоедова «Кто брат, кто сестра». Сам Грибоедов пишет Всеволожскому 8 августа 1823 г.: «Для нелюдима шум ярмонки менее заманчив». Наконец, это слово встречается в письме полковника Пестеля: «Я ожидал видеться в Бердичеве на ярмонке в Юне м-це с кн. Яблоновским».

При чем же тут Замоскворечь? Это было общераспространенное слово.

Нас смущают порой грибоедовские ударения; большим подспорьем для правильного подхода к ним является язык басен Крылова.

В «Горе от ума» Фамусов говорит:

”Чтоб наших дочерей всему учить, всему —
И танцам! и пенью! и нежностям- и вдохам!

«Пеньё» сплошь и рядом встречается у Крылова на ряду с «пенье»:

”И словом разогнал всех птиц своим пеньём“.

или

”Нет, вижу, что в пенье ты вовсе не искусен“

и в другом месте:

”Как быть, и как с соседом сладить,
Чтоб от пенья его отважить“.

И у кн. Шаховского в «Липецких водах» есть прелестная по мысли, хоть и трудно произносимая строчка:

”В пенье сноснее вздор“.

Любопытно, что Грибоедов, так же как Крылов, произносит музыка в то время, как Пушкин пошел по линии Державина-Сумарокова и всегда без исключения (многократно) говорит музыка.

В Грибоедовское время — под влиянием Карамзина — сокращение придаточных предложений часто производилось по французскому образцу. В 4-ом действии Чацкий говорит:

”В повозке так-то на пути.
Необозримую равниной, сидя праздно,
Все что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно“.

Очаровательно наивно это звучит у Крылова:

”Хоть я и не пророк,
Но, видя мотылька, что он (!!)
вдруг свечки вьется,
Пророчество почти всегда мне
удается,
Что крылышки сожжет мой мотылек“.

Наконец, выражение «два дни», «три дни», как мы неоднократно находим в «Горе от ума», было еще употребительно в первой четверти 19-го столетия. Это — наследие предыдущей эпохи. В «Недоросле» мы находим:

«А я уже три дни свидетелем ее добронравия»; ту же форму я встретил дважды в «Ябде» Капниста, и в «Притворной неверности» Грибоедова.

В речи Чацкого есть много грамматически неправильных фраз, напр.:

«Но что во мне кипит, волнует, бесит». «Во мне кипит» — в порядке. Но «во мне волнует», «во мне бесит» — какофония. Тут присяжные критики великолепно вышли из затруднения. Чацкий взволнован. У него язык заплетается. Он произносит слова невпопад. Но вот Фамусов говорит:

”Богат, и на богатой был женат;
Пережили детей, внучат;

и ровно через 15 минут вместо «внучат» он говорит:

”Извольте посмотреть на нашу молодежь,
На юношей — сынков и внучат,
Журим мы их, а если разберешь,
В пятнадцать лет учителей научат“.

Обе эти фразы Фамусов произносит в спокойном благодушном настроении; первую — перед Петрушкой, вторую в мирной беседе со Скалозубом. Чем же объяснить, что в первый раз он говорит «внучат», а второй раз — «внучат»?

Задача, по мнению советского критика, простая. Посмотрите, говорит он, как великолепно изобразил Грибоедов эту неправильную фамусовскую речь. Фамусов, вероятно, провинциал, выслужился из Молчалиных, приехал в Москву; он выскочка, он не умеет говорить, он путает ударения.

Вряд ли можно кого-нибудь обмануть этими верноподданными излияниями. Если человек употребляет какое-нибудь слово с неправильным ударением, напр. говорит молодежь вместо молодёжь, то он говорил так вчера, говорит сегодня и будет говорить завтра, пока его не остановят, и совершенно невероятно, чтобы на протяжении нескольких минут он употребил в спокойном состоянии оба ударения. И ведь ларчик так просто открывается. Грибоедову понравилась рифма «внучат-научат», он и принес ей в жертву все прочее.

А г-жа Нечкина, не сговорившись с предыдущим критиком, наоборот, восхищается тем, как хорошо Фамусов говорит по-русски.

Вообще, «Горе от ума» великолепная арена для исполнения всяких заданий. Ведь автор, за исключением ремарок, ничего не говорит от себя; все остальное произносят действующие лица, а это очень удобно: можно

все грехи автора переложить на его персонажи и указать, что так и так говорит Чацкий, но Грибоедов здесь не причем, это он «нарочно» заставляет Чацкого говорить неправильно.

В некоторых случаях такой подход справедлив. В списке действующих лиц Хлестова значится как «свояченица» Фамусова, т. е. сестра его жены, а Фамусов представляет ее Скалозубу как «невестушку», т. е. как жену брата. Это, конечно, художественная тонкость. Грибоедов заставляет говорить Фамусова по упрощенному. Слово «свояченица» в обиходе малоупотребительно, обыкновенно говорят «невестка».

К сожалению, подобные тонкости не всегда правильно понимаются редакторами. У Грибоедова в списке действующих лиц фамилия Платона Михайловича и Натальи Дмитриевны — Горичевы. Фамилия эта проносится по ходу действия всего один раз: в четвертом действии лакей Фамусова кричит: «Карета Горича». Никакой неувязки тут нет. Простому человеку свойственно сокращать фамилии. Не надо идти далеко за примером. Пушкин рассказывает о том, как он на Кавказе встретил на пути простую арбу в которой везли тело убитого Грибоедова. На вопрос «что везешь?» возница ответил: Грибоеда.

Слово «братец» встречается в «Горе от ума» всегда с ударением: братец:

«Что бал, братец».

«Ах я, братец, боюсь».

«Прочти, братец».

«Шумим, братец, шумим!»

И в «Музейном Автографе», в одной из вычеркнутых строк, было такое же ударение.

Слово «сударь» встречается у Грибоедова с двойным ударением: как сударь, так и сударь. Я пришел к заключению, что Грибоедов рассматривает эти две формы как два различных слова. В Музейном Автографе у него была строчка: «Ты, посетитель, что? Ты, сударь, здесь к чему?» В окончательной редакции Грибоедов переставил слова, получилось: «Ты здесь, сударь, к чему?» Естественно предположить, что это было сделано не спроста. Когда в первом действии Фамусов застал Лизу врасплох, она, испугавшись, говорит: «Нет, сударь, я лишь невзначай». Сударь — обычная форма вежливости и покорности. Но, по мере того как Фамусов заигрывает с ней, Лиза впадает в фамильярный тон и говорит ему: «Порз, сударь, вам знать. Вы не ребенок». В этом сударь уже никакого подобострастия нет. Эта форма не только более интимная, но переходящая порой в иронию и в презрение. Везде, где персонажи говорят повышенным тоном, где чувствуется желание уязвить или оскорбить собеседника, Грибоедов употребляет форму «сударь». Хлестова говорит Фамусову во время перебранки: «Три, сударь». Фамусов Чацкому: «А вас, сударь, прошу

я толком туда не жаловать ни прямо, ни проселком». Чацкий не остается в долгу и язвительно обращается к Фамусову: «А вы, сударь отец, вы страстные к чинам». Фамусов — Молчалину тоже в сердцах: «Боюсь, сударь, я одного смертельно» и «Ты здесь, сударь, к чему?» Лизе с Молчалиным церемониться нечего; за исключением одного раза, она всегда говорит ему «сударь»; наоборот, вспоминая о своем разговоре с Чацким перед отъездом последнего из Москвы три года назад, она повторяет сказанную ему тогда фразу: «Что, сударь, плачете, живите-ка смеясь». Это типичный язык преданной служанки.

Но самое поразительное подтверждение этого взгляда я нашел не в «Горе от ума», а в другом произведении Грибоедова «Притворная Невежность», где есть строчка, заключающая в себе оба ударения:

“Да, сударь, да, сударь, я говорю вам: да!”

Тут фраза начинается с вежливого обращения «сударь», но сейчас же переходит в агрессивное оскорбительное «сударь»; эта строчка произносится в пылу спора.

Я должен направить теперь упрек по сю сторону занавеса. В 1919 году Бурцев выпустил в Париже первое действие «Горя от ума». Это издание снабжено многими примечаниями и вариантами, т. е. в принципе было бы весьма желательным пособием. Теоретический подход Бурцева был правильный: он предлагал восстановить все места, измененные Грибоедовым в угоду цензуре. К сожалению, помимо этого похвального задания, Бурцев принялся самолично за исправление текста по собственному разумению: так, он переделал все «сударь» на «сударь». Уже этим одним он выказал полное непонимание Грибоедовского текста. Затем, он предложил изменить все старинные формы, не считаясь с рифмой, напр.: ему не понравилось выражение: «не смыкая глазу». Он предложил изменить это на «не смыкая глаз», не считаясь с тем, что строчка «так лучше сразу» останется без рифмы. Подобных нелепых предложений он сделал множество. Бурцев был человек просвещенный и гениальный сыщик. К сожалению, он не был поэтом, а это качество совершенно необходимо для того, чтобы прикасаться к «сценической поэме», как Грибоедов назвал свое творение. В общем, выступление Бурцева, несмотря на некоторые полезные предложения, носит комический характер.

Другое зарубежное издание, бесхитрое и здоровое, было выпущено под редакцией Бунина в 1921 г., и предназначалось для Крыма. Издание Бунина не считается с поправками, сделанными проф. Пиксановым в Акад. издании 1913 г.; это — старый текст, который мы знаем с детства, на грамотном современном языке. Тем не менее, я нашел в этом издании несколько интересных деталей, между прочим, следующую: в пер-

вом действии, когда Фамусов раздражается филиппикой против Кузнецкого Моста и иностранных учителей, он произносит:

„Да сами, добряки,
Дались нам эти языки“

Эта редакция принята в Акад. Изд. 1913 г., и в современных советских изданиях. Между тем, в одной из первых редакций, эти строки читаются иначе:

„Да сами, дураки,
Дались вам эти языки“.

И Бунин воспроизвел этот последний текст.

Естественно, что возбужденный Фамусов употребляет здесь более сильное выражение, дураки. Грибоедов смягчил эту строчку очевидно для того, чтобы не задеть всех тех Фамусовых, которые будут сидеть в первых рядах кресел. Это изменение надо отнести к типу вынужденных поправок, поэтому восстановление первого текста можно считать в данном случае желательным и редакцию Бунина законной.

По прежним печатным текстам мы знаем, что Фамусов, появляясь на сцене в третьем действии, во время съезда гостей, обращается к Тугоуховскому:

„Ждем князь-Петр Ильича“

Эта форма: «князь-Петр Ильича» встречается в «Горе от ума» неоднократно: княгиня говорит: «умнее всех, и даже князь-Петра». Репетитов: «у князь-Григория теперь народу тьма». Скалозуб:

„Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Волтеры дам“.

Велико было мое изумление, когда в издании Гос. Изд. «Искусство», Москва 1946, я нашел, вместо этого привычного текста, следующую строку:

„Ждем князя Петра Ильича“.

Я пробовал читать это на ямбический лад, получилось: «Ждем князя Пётра Ильича».

По справке выяснилось, что не только в различных советских, но и в Академическом изд. 1913 г., напечатано: «Ждем князя Петра Ильича», а в детском издании 1945 г. в слове «Петра» е поставлено с двумя точками, что создает подобную же нелепость: «Ждем князя Пётра Ильича».

Оказывается, что действительно, во всех рукописях Грибоедова так и было сказано: «Ждем князя Петра Ильича», но может ли это служить оправданием для введения подобной несообразности в комедию?

Проф. Пиксанов все же произвел много ценных поправок в тексте «Горе от ума». Надо приветствовать, напр., следующую поправку: в ста-

рых изданиях Скалозуб говорит о Москве: «Дистанция огромного размера», что и не логично, и мало понятно. Проф. Пиксанов поправил, согласно рукописи: «Дистанции огромного размера».

Действие «Горя от ума» происходит Великим Постом. В «Музейном Автографе» вместо известных нам стихов:

”То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится“

было сказано:

”Великий Пост, и вдруг обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится:
Грибки, да кисельки, щи, кашки в ста горшках“.

Изменение текста произошло опять-таки по цензурным условиям; упоминание обо всем, что касается религии, надо было избегать. Совершенно непонятно, между прочим, почему проф. Пиксанов не восстановил этого текста.

Величайший и необъяснимый грех проф. Пиксанова состоит в том, что ни в Авад. Идании 1913 года, ни в современном тексте он не восстановил целого ряда прелестных стихов, которые Грибоедов явно изъясил из комедии по цензурным условиям или по смешному желанию получить совершенно звучащую рифму. Так, вместо обычного текста:

”Ну, что ваш батюшка? все Английского клубъ
Старинный, верный член до гроба?“

мы находим в первоначальной редакции две очаровательные строчки:

”Ну, что ваш батюшка? Все Английского клуба
Миритель спорщиков, и спорит, так что любо?“

Это, конечно, гораздо содержательнее чем позднейшая редакция, по Грибоедову «клуба-любо» показалось недостаточно гладким. И почему «клуб», когда Чацкий во всех других местах говорит «клуб»?

Но идола ошибаться не может, и Вл. Филипов подсказывает: Как кстати здесь Чацкий говорит «Клуб» вместо «Клуб». Это он передразнивает Фамусова! Мы с вами не знаем о том, что Фамусов говорит «клуб» — в его роли этого слова нет, поэтому приходится верить критику на слово; что Фамусов произносит «клуб». Слово «клуб» имеется в тексте комедии еще один раз и тоже невпопад. Его произносит графиня-бабушка. Грибоедов изобразил ее немкой; по Музейному Автографу она произносит все слова с немецким акцентом: «Мой труг, мне уши залопило». Но «клуб» по-немецки не «Клуб», как по-английски, а Klub, чем же объяснить, что она произносит клуб? Только тем, что здесь нужна была внутренняя рифма; графиня-бабушка глуховата и по ассонансу повторяет слова Загорецкого:

”В горах был ранен в лоб, сошел с ума от раны.
— Что? К фармавозам в клуб? Пошел он в бусурманы!“

Непонятно также, почему проф. Пиксанов не восстановил оригинального текста в монологе Фамусова перед Петрушкой. Обычные стихи следующие:

"Отметь-ка, в тот же день... Нет, нет.
В четверг я зван на погребенье".

А в первой редакции гораздо полнее и интереснее:

"Отметь: в четверг я зван на погребенье,
А вынос у Никола в Сапожках".

«Никола в Сапожках» — название московской церкви. Грибоедов изменил здесь текст, ибо по цензурным законам нельзя было упоминать со сцены о церквях. Но это прямая обязанность сегодняшнего «цензора» — восстановить эту красочную строчку.

Это погребение — еще один пример того, как изощряется советская критика, чтобы выполнить полученное задание и доказать, что все у Грибоедова обстоит благополучно. Фамусов диктует Петрушке, что погребение состоится на будущей неделе в четверг. Действие «Горя от ума» тоже происходит в четверг: Репетилов приезжает из Английского клуба где «у нас есть общество и тайные собрания по четвергам. Секретнейший союз». Значит, тело покойника останется без погребения больше недели. Кажется, неувязка? Но блестящий выход найден: «Покойник был почтенный камергер», а тела особ первых четырех классов могли быть набальмированы, и поэтому похороны могли состояться через неделю. Признаю: изобретательно и остроумно.

Реплика Загорецкого на монолог Репетилова была гораздо интереснее в первом издании. По обычному тексту, Загорецкий говорит:

"Извольте продолжать, вам искренно признаюсь,
Такой же я как вы, ужасный либерал!
И от того что прям и смело объясняюсь,
Куда как много потерял".

Вот как звучало это место вначале у Грибоедова:

"Извольте продолжать! Поверьте,
Я сам ужасный либерал!
И рабства не терплю до смерти!
Через это много потерял".

Упоминание о рабстве, т. е. о крепостном праве было запретным; поэтому Грибоедов заменил это выражение; но это не только наше право, но и священная обязанность восстановить старый текст — и ничего этого не сделано.

Лиза говорит Молчалину в первом действии:

"Ну, что же стали вы? поклон, сударь, отвесьте.
Подите — сердце во на месте".

В «Музейном Автографе» эти строчки гораздо колоритнее:

”Для нашей, сударь, чести,
Ступайте — сердце не на месте“.

Конечно, рифма «отвесьте-месте» лучше чем «чести-месте». Но и тут бы не грех вернуться к старому тексту.

Скалозуб рассказывает о своем двоюродном брате в следующих стихах:

”Но крепко набрался каких-то
новых правил,
Чин следовал ему: он службу
вдруг оставил,
В деревне книги стал читать“.

Опять таки: правил-оставил великолепная рифма. А в первой редакции:

”Но крепко заражен теперешним
столетьем,
Представьте, капитан по списку
был он третьим,
В отставку вышел вдруг и книги
стал читать“.

К сожалению, эти строчки остались в архивах.

Молчалин на вопрос Фамусова что он делает возле комнаты Софьи отвечает: «Сейчас с прогулки» и вызывает знаменитую реплику Фамусова:

”Друг, нельзя ли для прогулок
Подальше выбрать закоулок?“

Но и в первой версии было не плохо:

”Брат Молчалин,
Гуляешь возле женских спален“.

«Молчалин-спален» не так звучно, как «прогулок-закоулок». Приходится только радоваться, что здесь Грибоедову удалось найти равноценный эквивалент.

Я позволю себе задать теперешним толкователям Грибоедова и следующий вопрос: если вы так рабски копируете каждую букву Грибоедова, то как объяснить, почему вы печатаете слова Создатель, Господь, Боже с маленькой буквы? Это уже будет не по грибоедовски, и ничего общего с новым правописанием это не имеет.

Вопреки мнению, что теперешнее издание — окончательное, я убежден, что над «Горем от ума» можно и нужно еще долго и упорно работать. Мало надежды на то, что посчастливится найти где-нибудь неизвестные доселе рукописи или письма Грибоедова, поэтому нам поневоле приходится орудовать тем необширным наследством, которое он нам оставил.



О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

(Обзор важнейших научных теорий).

Научная разработка проблем языкознания располагает, в настоящее время, тремя теориями по вопросу возникновения и развития русского литературного языка.

Две теории являются диаметрально-противоположными концепциями, третья — компромиссная.

Наиболее ранней теорией является теория акад. А. А. Шахматова, называемая еще теорией зависимого пути развития русского литературного языка. Теория эта была выдвинута в начале нашего столетия и поначалу не встречала каких-либо серьезных возражений. Вскоре она даже сделалась как бы традиционной.

Но в конце 30-х годов советский академик С. П. Обнорский выдвинул новую теорию — теорию независимого пути развития русского литературного языка, которая привлекла к себе значительное научное внимание.

Примерно с 1958 года на сцену выходит новейшая теория академика В. В. Виноградова — теория, так называемого, параллельного развития русского языка.

Теория эта быстро завоевывает широкую популярность.

Акад. А. А. Шахматов, предлагая свою теорию церковно-славянского происхождения русского литературного языка, формулировал свою мысль ясно и категорично:

«По происхождению своему русский литературный язык — это перенесенный на русскую почву церковно-славянский (по происхождению древнеболгарский) язык, в течение веков сближавшийся с живым народным языком и постепенно утративший и уругчивающий свое иноземное обличье».

(А. А. Шахматов, "Очерк современного русского языка", СПб, изд. 4-ое, 1912 г., стр. 60).

По мнению акад. Шахматова, даже современный русский литератур-

ный язык содержит около 50% слов, форм и оборотов речи, взятых из староболгарского языка церковно-славянским языком.

В отношении словарного состава современного русского языка, то, по подсчетам Л. В. Щербы, количество заимствований из церковно-славянского языка достигает 70%, а, например, проф. М. Н. Петерсон считает, что таких заимствований не более 10%.

Однако, эти разноречия вполне понятны и объяснимы, если вспомнить, что старославянский язык по своей структуре был очень близок к русскому. Поэтому выделение старославянизмов в словарном составе древне-русского и даже современного русского языка отнюдь не является легкой задачей.

Первым ученым, который, несмотря на всю сложность вопроса, сделал научное сравнение между церковно-славянским языком и древне-русским, был академик Востоков.

Исследуя «Слово о Полку Игореве», «Русскую Правду» и другие древне-русские памятники, он пришел к заключению, что уже и в то время существовала значительная разница в обоих языках.

Исследования Востокова подтверждали мнение другого ученого — акад. Соболевского, который хотя и принадлежал к школе Шахматова, но считал, что во время раннего христианского периода существовали параллельно два языка: церковно-славянский, употребляемый в качестве литературного, и «деловой» русский обиходный язык.

«Древняя Русь пользовалась двумя языками: церковно-славянским в качестве литературного и живым народно-обиходным, «деловым» языком».

(Соболевский: "Ломоносов в истории русского языка". СПб. 1909 г. стр. 366).

Взаимодействие этих двух языков Соболевский характеризует так:

«Конечно, люди с недостаточным образованием часто писали свои литературные сочинения таким языком, в котором церковно-славянские элементы были менее представлены, чем русские, но, тем не менее, они всегда старались выражаться по-церковно-славянски, пользуясь всем, пусть даже ограниченным, знанием церковно-славянского языка. Такими были, кстати наши летописцы и сам автор «Слова о Полку Игореве».

(Там же).

Проф. Селищев, соглашаясь с А. А. Шахматовым по вопросу о церковно-славянском происхождении русского литературного языка (как и проф. Соболевский) в то же время утверждал, что «древне-русский лито-

ратурный язык в своей основе не вполне соответствовал церковно-славянскому».

(См. Ефимов, "История древне-русского литературного языка", М. 1957, стр. 42).

Это утверждение проф. Селищева содержит в себе тот зародыш, из которого возникла впоследствии другая теория, отличная от шахматовской, — теория независимого возникновения и развития русского литературного языка академика С. П. Обнорского, который считал, что:

«Теория акад. Шахматова односторонняя и неполно представляет сложный процесс взаимодействия и развития русского и старославянского языков, не отражает фактической картины образования и развития русского литературного языка древнейшей поры. Поэтому, чем шире и глубже шло изучение памятников древне-русской письменности, тем решительнее выдвигалась концепция, прямо-противоположная шахматовской — концепция независимой национальной самобытности древне-русского литературного языка, его народно-восточнославянского происхождения».

(Горшков А. И., "История русского литературного языка", М. 1961 год, стр. 17).

Анализируя такие древнейшие памятники русской письменности, как «Русская Правда» (начало XI в.), «Поучения» Владимира Мономаха, «Слово о Полку Игореве» и др., академик С. П. Обнорский пришел к заключению, что язык, употреблявшийся во всех этих источниках, в своей основе является русским языком, который был уже сформирован в предхристианский период и который в определенный исторический момент вошел в контакт со старо-болгарским литературным языком. В результате такого соприкосновения, русский литературный язык стал постепенно впитывать некоторые особенности этого старо-болгарского языка, обогащаясь болгарской лексикой, фразеологией и используя эти новые элементы, согласно с возникающими литературными требованиями, в различных жанрах самого русского языка. Таким образом акад. С. П. Обнорский выдвинул —

«положение о русской основе нашего литературного языка, а соответственно — о позднейшем столкновении с ним церковно-славянского, и вторичности процесса проникновения в него церковно-славянских элементов, т. е. положение, вскрывающее ложность существовавшей до этого общей концепции по вопросу происхождения русского языка».

(С. П. Обнорский, "Очерки по истории русского литературного языка старшего периода", М. 1948 г., стр. 6).

Ранние литературные памятники древне-русского языка по Обнорскому содержат гораздо меньшее число церковно-славянизмов, чем литературные памятники позднейшего периода. Струя церковно-славянского влияния зависит также от самого характера, т. е. жанра данного литературного памятника. Так, например, в «Русской Правде» Обнорский совсем не обнаружил признаков влияния церковно-славянского языка. Он отмечает также почти полное отсутствие влияния церковно-славянского языка и в «Слове о Полку Игореве».

Зато в «Поучениях» Владимира Мономаха это влияние отчетливо чувствуется. В письме Мономаха к Олегу это влияние снова заметно слабеет, а в автобиографии Мономаха сходит почти на нет.

Другим фактором, которым оперирует школа Обнорского, является фактор археологический, т. е. фактор, опирающийся на недавние археологические находки.

В 1949 году под Новгородом, возле села Гнездово, было найдено много интереснейших находок, в том числе ряд глиняных черепков. Один из этих черепков, зарегистрированный как находка № 13, снабжен надписью, состоящей из одного слова, начертанного кириллическими буквами.

Надпись расшифровывается как «горушна» (или «горухща», согласно мнению других исследователей) и означает в переводе на современный язык «горчичное семя». Очевидно, горшочек был предназначен в хозяйстве нашего отдаленного предка именно для этого рода семян.

Согласно мнению археологов Арциховского и Колчина, поддержанных также учеными школы Обнорского, эта надпись относится к первой четверти X-го века. Этот древнейший памятник письменности, вместе с другими находками в Новгороде — знаменитыми берестяными грамотами, (которые относятся теми же учеными-археологами к периоду от середины X-го века до последней четверти XII-го века, — 28-й-16-й ярусы по шкале Арциховского) — укрепляют аргументацию школы Обнорского. Кроме того, в пользу концепции Обнорского говорят и сведения X-го века (греко-киевские договоры) и даже IX-го века (арабские источники и корсунская книга, о которой упоминается в «Житие Константина-Философа»).

Действительно, если в первой четверти X-го века, то-есть около 925 г., уже существовала определенная форма письменности, то, безусловно, можно говорить и о существовании языковых стандартов грамотных людей, то-есть то, что мы теперь называем литературным языком. Причем эти языковые стандарты, то-есть древне-русский литературный язык, должны были сформироваться, в первую очередь, на основе восточно-славянской народной речи.

Серьезное влияние старо-болгарского языка стало проявляться зна-

чительно позднее, когда стали появляться такие центры церковно-славянского влияния, как монастыри духовные семинарии, школы и другие церковные учреждения.

К этому, в основном, и сводится вся сущность концепции Обнорского, что в раннюю христианскую эпоху уже существовал русский литературный язык, сформировавшийся на местной народной основе, а затем только подвергнувшийся влиянию старо-славянского языка, следы которого сохраняются и до сих пор.

Однако, современная научная мысль приходит к выводу, что и концепцию Обнорского, несмотря на ее несомненные заслуги в области исследования памятников письменности, следует считать все же односторонней и неполной.

К этому приводят следующие соображения:

Во-первых, — подтверждается недостаточность аргументации Обнорского в анализе языка древних памятников письменности.

Во-вторых, — новейшие изыскания в области палеографического анализа и датировки возраста новгородских берестяных грамот расшатывают концепцию Обнорского в самом ее основании.

Говоря о первом пункте возражения Обнорскому, необходимо предварительно уточнить, что, собственно говоря, можно и нужно считать литературным языком и что — народным.

А. И. Горшков дает верную и ясную формулировку. Он пишет:

... «хотя литературный язык нельзя противопоставлять общенародному языку. Но и нельзя при этом забывать, что общенародный язык, как правило, не представляет собой совершенно однородного явления на всей территории своего распространения, а существует, как совокупность, единство территориальных диалектов, каждый из которых имеет ряд специфических черт как в области лексики, так и в области фонетики и, в меньшей степени, грамматики. Многие из этих черт оказываются чуждыми, неприемлемыми для норм литературного языка, который вбирает в себя из диалектов только наиболее выразительные и способные получить общенародное распространение черты».

(А. И. Горшков, "История русского литературного языка". Высшая Школа, 1961 г., стр. 13).

Имея в виду школу Обнорского, А. И. Горшков ниже пишет, что:

«В лингвистической литературе последних лет весьма распространенной является тенденция все памятники рассматривать, как памятники литературного языка. Даже язык новгородских грамот на бересте рассматривается некоторыми учеными, как литературный язык.

Между тем факт письменной фиксации языка сам по себе не является признаком его литературности. Не говоря уже о языке новгородских берестяных грамот, можно сомневаться и в том, что литературным является язык известного памятника древне-русской письменности, как «Русская Правда». Разумеется, язык этого памятника отличается определенной нормированностью, сознательной обработанностью, но характер этой нормированности и обработанности специфичен только для определенного рода памятников — памятников «деловой» письменности. Язык деловой письменности эпохи Киевской Руси стилистически очень беден, а нормы этого языка, во-первых, охватывают лишь определенную часть лексики и грамматических конструкций (а не всю языковую систему в целом), во-вторых, не имеют тенденций к распространению в других разновидностях письменного языка той эпохи. Это дает право рассматривать «деловой язык» в определенные периоды развития русского языка, как язык не тождественный литературному, как нелитературный язык».

(А. И. Горшков, История русского языка, стр. 14-15).

Итак, аргументация Обнорского, основанная на анализе «Русской Правды», «Слова о Полку Игореве», «Поучения Владимира Мономаха» и других аналогичных памятников письменности, поражается в самой своей основе.

Кроме того, отрицательное впечатление усиливается еще и фактом серьезных разноречий в оценке анализа этих же памятников другими крупными учеными. Так, например, заключения проф. Селищева в оценке «Русской Правды» прямо противоположны выводам Обнорского.

В «Слове о Полку Игореве» проф. Соболевский установил значительное влияние церковно-славянского языка, в то время, как Обнорский, как мы уже знаем, такого влияния совершенно не усматривает.

Говоря о втором пункте возражения Обнорского, то и здесь концепция независимого пути развития русского языка подрывается самым решительным образом.

А. В. Арциховский и Б. А. Колчин являются создателями Новгородской хронологической шкалы, — шкалы, которая с 1956 г. стала пропагандироваться руководством Новгородской экспедиции.

На основе этой хронологической шкалы анализировался различный археологический материал, в том числе и берестяные грамоты. Не вдаваясь в детали, следует отметить, что шкала Арциховского была объявлена ее авторами — «окончательной и не требующей дальнейших уточнений». (А. В. Арциховский, «О новгородской хронологии», Москва, 1956 г. стр. 107.

В 1961 г. в журнале «Советская археология» № 2 появилась статья

проф. Б. А. Рыбакова: «О статье А. В. Арциховского о новгородской хронологии», где автор опровергает всю стройную, ярусную систему Арциховского, доказывает полнейшую несостоятельность его теории, упрекает Арциховского в совершенно неоправданном обобщении фактов. Рыбаков спрашивает:

«На основе каких «находок» сложилась шкала новгородских древностей? Не тех ли амфор, бус и пряслиц, которые везде встречаются несколько веков, а в Новгороде встречены во многих ярусах? Не тех ли печатей и монет, время попадания которых в культурный слой всегда остается археологам неизвестным, не тех ли берестяных грамот XIII-XIV в.в., в которых издатель отыскивает порою признаки архаичной болгарской графики X века».

(Б. А. Рыбаков, "О статье Арциховского", "Советская археология" № 2, 1961, стр. 147).

Б. А. Рыбаков в своей статье доказывает, что —

«На основании массовых археологических находок мы можем датировать новгородские ярусы (принимая формулу Арциховского I ярус равен 600-ам 28-ым) с допустимой погрешностью в одно столетие».

(Там же).

Таким образом, если даже считать язык берестяных грамот литературным, мы должны учесть погрешность в определении возраста грамот равной, по крайней мере, одному столетию. Но подобная поправка сокрушает всю концепцию Обнорского.

В самом деле, если археологические находки в Гнездове (83 грамоты на бересте), сделанные Арциховским в 1951-1952 г.г., отнести ко времени от X до XIII в., как это было принято Арциховским, то концепция Обнорского может еще претендовать на определенную материальную базу.

Однако, как возможно допустить, чтобы такой славяно-русский литературный язык с таким стилем и орфографией (как, например, в Остромировом Евангелии (1056-1057) или в служебных минеях (1095-1097) мог развиваться за какое-либо столетие. Очевидно, должен был существовать какой-то другой, совсем сложившийся независимый язык, который и был первоначальной основой для русского литературного языка.

Но эта вероятность сводится на нет, если принять справедливую поправку Рыбакова к шкале Арциховского, то-есть отнести археологические находки в Новгороде (включая сюда и письменные памятники) не к X-XIII ст., а к XI-XIV в. Таким образом, оставляя в стороне спор о

литературности берестяных грамот, видно, что двухстолетний срок (с момента появления славянской азбуки в 863 г. свв. Кирилла и Мефодия до первых берестяных грамот и других памятников письменности XI века) является, без всякой натяжки, вполне достаточным промежутком времени, в течение которого мог сформироваться гибкий литературный язык.

Вполне ясно, что поправка Рыбакова к шкале Арциховского суживает до минимума материальную базу концепции Обнорского (одно слово «го-рушна» на черепке, вообще, не может служить подтверждением существования литературного языка), а спор вокруг литературности определенных письменных памятников вообще делает всю концепцию более, чем проблематичной.

Таким образом, хотя теория Обнорского и была по душе советской официальной науке из-за сведения к минимуму роли церкви в деле формирования русского литературного языка, она теперь выходит из «моды» даже в Советском Союзе.

С 1958 года становится известной концепция проф. Виноградова. Представителями школы проф. Виноградова являются А. И. Горшков, отчасти проф. Ефимов, В. Д. Левин и другие.

Концепция проф. Виноградова является своего рода компромиссной, она стремится устранить противоречия двух первых.

Акад. Виноградов считает:

«что в результате взаимодействия старославянского и народного восточно-славянского (древне-русского) языка образовались два типа древне-русского литературного языка — книжно-славянский и народно-литературный.

В противоположность прямолинейным концепциям А. А. Шахматова и С. П. Обнорского выдвигается положение, учитывающее, прежде всего, объективные факты образования и развития русского литературного языка древнейшей поры».

(А. И. Горшков, История русского литературного языка, стр. 18).

Теория акад. Виноградова поэтому куда более гибка и глубока и, возможно, со временем сделается ключом к пониманию всей специфики и своеобразия развития русского литературного языка.

Действительно:

«проникновение на Русь старославянского языка и формирование на его основе книжно-славянского типа древне-русского

литературного языка не могло ни стеснить, ни тем более подавить передачу на письме и дальнейшую литературную обработку восточно-славянской народно-поэтической и историко-мемуарной речевой традиции (см. язык начальной летописи, «Слово о Полку Игореве», Моления Даниила Заточника и так далее).

Литературно обработанный народный тип литературного языка не ограничивается и не обособляется от книжно-славянского типа, как особый язык. Вместе с тем это не разные стили одного и того же литературного языка, так как они помещаются в рамках одной языковой структуры и применяются в разных сферах культуры и с разными функциями.

Тут дают себя знать специфические закономерности функционирования и развития литературных языков в эпохи до образования наций и национальных языков».

(В. В. Виноградов: "Основные проблемы изучения образования и развития древне-русского литературного языка". IV Международный Съезд славистов. Доклады. М. 1958, стр. 37-38).

Что, однако, обуславливает те специфические закономерности функционирования, которые привели к развитию двух типов русского литературного языка, о которых говорит акад. В. В. Виноградов?

Ответ нужно искать в анализе исторического хода событий у восточных славян.

Вполне очевидно, что старославянский язык, занесенный на территорию Киевской Руси в конце X века, как язык церковный, быстро распространился, в виду его большого сходства с местным древнерусским языком, в среде, по крайней мере, образованных классов тогдашнего общества.

Но этот старо-славянский язык сам с течением времени утрачивает свою специфику «чужого» языка и становится разновидностью языка, на который ориентировалась тогдашняя литература, преимущественно церковного характера.

Таким образом, первоначальный старо-славянский язык (в основе своей староболгарский) сам изменялся и превратился в русскую версию старо-славянского или, как его еще называют, в церковно-славянский язык. Здесь, кстати, следует сделать замечание, относящееся к терминологии: у многих авторов можно встретить термины — «старо-славянский», «церковно-славянский», «староболгарский», обозначающие иногда одно и то же понятие. Во избежание путаницы, следовало бы правильной понимать под термином церковно-славянского языка только ту русскую версию старо-славянского языка, которая употребляется в православной (восточно-славянской) литургии до сих пор. Термин «старо-славянский»

употреблять исключительно в отношении языка (в основе своей староболгарского) церкви Киевской Руси, периода раннего христианства, и содержащего еще незначительные элементы влияния древне-русского языка.

Исследования В. Д. Левина (см. его «Краткий очерк истории русского литературного языка», Москва, 1958 г.) подтверждают наличие влияния в церковно-славянском языке, как фольклорного стиля древне-русского языка, так и разговорной его разновидности. Это взаимодействие приводит к развитию того типа древне-русского литературного языка, который именуется у В. В. Виноградова — книжно-славянским.

Этим типом языка пользовались в церковно-религиозных произведениях. В качестве примеров можно упомянуть такие памятники, как «Слово о Законе и Благодати» Киевского Митрополита Иллариона (XI в.), «Слово в новую неделю на пасхе» Кирилла, Епископа Туровского, «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского» и т. д.

Второй тип древне-русского языка или, как В. В. Виноградов называет, народно-литературный тип древне-русского языка сложился не только под влиянием живой народной речи и фольклорной ее разновидности, но также испытал и благотворное, организующее влияние старославянского языка. Нужно отметить также сравнительно менее значительное, но тем не менее, действительное влияние языка официальных бумаг, т. е. ту разновидность языка, которую называют «деловым» или «приказным» языком.

На протяжении всего XI-го столетия бурно происходил процесс взаимодействия и взаимопроникания старо-славянского и древне-русского языков. Процесс, который, возможно, привел бы в будущем к полнейшему слиянию этих двух родственных между собою языков. Но в XII-м столетии произошли события, которые повлекли за собой обособление церковно-славянского языка, с одной стороны, а, с другой, внесли изменения в направлении развития самого древне-русского языка.

Под натиском азиатских кочевых народов Киевская Русь с XII века начала приходить в упадок и распадаться. Население уничтожалось кочевниками, захватывалось ими в рабство, бежало в разные стороны, спасаясь от насилия и разбоя. На северо-востоке зарождается новое русское государство, все более оттесняемое вражескими полчищами от Южной и Западной Руси.

Народный язык все более начинает вбирать в себя элементы многих языков и наречий от соседних народов — угро-финских и монгольских.

Влияние соседей обусловило рост отличий и среди славянских языков или даже наречий одного от другого.

Старо-славянский или, вернее, теперь уже церковно-славянский язык превратился в единственную связь между отдельными частями распавшейся Руси, поэтому он обособился и постепенно стал единым общим языком — выразителем общеправославной веры.

Роль его стала совпадать во многом с ролью латинского языка в странах Западной Европы.

Таким образом, в силу особенностей исторического развития можно уяснить, почему в России, наряду с языком фольклора с его народными песнями, былинами, сказками, поговорками, причитаниями, заговорами и пословицами, одним словом — наряду с наличием такой народной словесности, которая может считаться по своим нормам народно-литературным языком, в то же время параллельно существовал и развивался, не растворяясь в общенародной гуще, еще другой, особый язык — язык церковного Богослужения, игравший также роль второго литературного языка.

Параллельное существование обоих типов литературного языка можно проследить вплоть до начала XVIII ст.

Только в результате реформ Петра Великого, и более тесного сближения русской культуры с западной, произошел глубокий разрыв между этими двумя типами русского литературного языка.

В русскую живую речь начинают вторгаться во множестве слова и обороты голландского, английского, немецкого и, позже, французского языков.

В 1708 г. Петр I вводит, вместо церковно-славянской азбуки, современное начертание букв — «гражданский» алфавит.

В непрекращающемся процессе заимствований и подражаний позднее образовывается также и особый язык верхних, более просвещенных дворянских слоев тогдашнего русского общества. Церковно-славянский же язык становится исключительно языком церкви, влияние его на русский литературный язык истощается и становится ретроспективным.

Вместо церковно-славянского влияния, все более заметным и важным становится влияние «деловой» речи, «публицистических» стилей, социальных и государственных условий и т. д.

Совокупность всех этих факторов явилась, по В. В. Виноградову

той основой, на которой и развился современный русский литературный язык.

Несмотря, однако, на все достоинства концепции академика Виноградова, ее все еще следует считать концепцией в достаточной мере гипотетической, так как проблема взаимодействия всей совокупности упомянутых речевых факторов¹ и влияние их на развитие литературного языка на различных исторических этапах требует дальнейшего научного углубления. Таким образом, эти проблемы являются интереснейшей областью, все еще ждущей пристального внимания современных исследователей.

Монреаль .

Нонна Белавина .

* * *

Должно быть ты горя вовек не знал,
Поэтому так ты жесток.
А вот — полюбуйся, как седина
От горя легла на висок.

И страшно стало на свете жить.
(Особенно по вечерам)
По той же самой земле ходить,
По которой ходила вчера,

Не зная, что горе из-за угла
Уже заносит свой меч,
Что черная боль легла, как зола,
На золото наших встреч.

Что мне теперь до конца моих дней
Не выпить счастья до дна...
И быть лишь тенью, тенью своей...
Нет! Ты, видно, горя не знал!

— o —

ВОСХОД СОЛНЦА НА АИ - ПЕТРИ .

*

И ночи черное не снято покрывало,
Но вот за лесом горизонт светлеет,
И дня веселое готовится начало.
Мы пробираемся неезженной тропюю,
Где росы на заре так первобытно свежи,
Тут нет кустарников, деревья реже, реже,
Лишь голый пик маячит над скалою.
Как пусто здесь и как кругом сурово,
Как эти скалы первозданно-дики!
Стоишь подавленный, без мысли и без слова
И вниз глядишь на хаос тот безликий.
Там далеко, и море и селенья
Затеряны в предутреннем тумане.
Ни день, ни ночь, ни жизни, ни движенья,
И сосны встали будто на экране.
Так начиналась жизнь моя когда-то,
В те дни, когда был пир, огня и лавы,
Рождался мир под гулкие набаты.
И был такой же ветер на рассвете,
И также тучи с моря набегали,
И вот из дымной тьмы тысячелетий
Потоки света в небе засверкали.
Из бездны вод, из призрачной пучины
Сверкнули солнца огненные стрелы,
И заалял горные вершины,
И над горами день выходит белый.

В. Утренев .

АНДРЕЙ ГАЛИЦКИЙ.

(И. Н. Д.)

ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА

— — —
2 + 2 = 4

Сегодня я решил «приготовить к печати» свой дневник.

Быть может, это заблуждение; и я должен оправдать свое решение перед собой и читателем.

Наши заблуждения ценны тем, что они «наши».

Как поэт и художник имею ли я «право» писать прозу?

Проза — враг художника; но традиционные поэтические формы не всегда допускают верность поэтическому канону.

Лукреций и Делиль — были счастливее. Я «не хочу», но принужден писать свой дневник прозой потому, что я не создал поэтической формы для своих «логических форм».

Эту слабость я прошу себя и вас снисходительно извинить.

— o —

Вчера профессор Харвардского Университета читал и с редким энтузиазмом старался доказать, что «классическая традиция» сильна во всем творчестве Рембрандта.

Он взял эту «традицию» как некую историческую единицу измерения, — но только показал, как всякая неконцентрическая единица ошибочна при всякой оценке.

Пускай Рембрандт учился в «латинской» школе в Лейдене, пускай опись его имущества показала его интерес к бюстам римских императоров, пусть сюжеты его ранних картин будут: Похищение Прозерпины, Даная или Флора или, в данном случае, «портрет» Аристотеля; несмотря на все эти факты — едва ли во всей живописи 17-го века мы сможем найти художника столь чуждого, столь внутренне полярного «классической традиции».

Пускай черты Аристотеля более соответствуют недавно найденному бюсту, чем обычные гравюры семнадцатого века! — Всякий непредубежденный зритель невольно спрашивает: «Как! Аристотель? Флора?» — До такой степени это совершенно «невероятно».

Я не думаю, что сам Рембрандт очень интересовался соответствием своих концепций с классическим сюжетом.

Аристотель у бюста Гомера написан по заказу из Италии: бледный человек, с мятым, нервным лицом в большой круглой шляпе, еле видной на обычном темно-коричневом фоне.

Все очарование картины — обычная техника Рембрандта: свет-тьень, гармония масс, симпатия «интерьера».

Все — строго абстрактно. Это не «конкретный» классицизм и не голос Природы, а только голос Рембрандта.

Но если «классицизм», как единица ценности для Рембрандта явно не концентричен, то монетная единица — доллар оказалась в большем соответствии.

Рембрандт куплен Метрополитэн музеем у частного коллекционера за два миллиона долларов.

— «Но все-таки! — Два миллиона!» Это восклицание можно слышать часто в центральном холле музея.

Невольно радуешься — что так дешево. Искусство может ли иметь цену? И есть ли вообще смысл в понятии ценности, тем более, в создании ценностей?

Ценность — только абстракция оценки. Так радостно, что есть картины, выводящие из общего уровня «буржуазного» понятия ценности.

Невольно вспоминаешь о филателии, где редкие марки очень дороги, хотя на мой непросвещенный взгляд они не имеют и не могут иметь никакой цены.

Но, конечно, перефразируя парадокс Уайльда, мы, слава Богу, люди свободные и «только вещи совершенно бесполезные имеют для нас ценность».

«Кумир золотой» — зеленый доллар незаконно присвоил себе человеческое качество: — способность оценки как воплощение способности мыслить. Мы всегда мыслим сравнительно. Уравнение (или неравенство) — основной акт математики и логики.

Если два плюс два равно четыре ($2+2=4$) — мы сравниваем и «оцениваем» эти два плюс два как четыре.

Исходная единица и уравнение, сравнение и оценка — основные качества человеческого мышления.

Если мы хотим иметь адекватную, не материалистическую и не историческую оценку в искусстве, — мы должны учиться у математики и сравнивать только «в своей сфере», по возможности отвлеченной от сложного феноменального мира.

— 0 —

Если у Рембрандта «классическая традиция» только литературна, то у Лорена — это он сам.

Клод Лорен (Желе) — современник Рембрандта.

(Р — 1606-1669, К. Л. 1600-1682)

Мы не знаем почти ничего о греческом пейзаже и очень мало о римском, — но стиль пейзажа был тот же, как у Лорена.

Гармония и строгость кажутся мне лучшими словами.

Незадолго до покупки «Аристотеля» музей «Фрик-коллекшон» приобрел «Нагорную Проповедь» Клода Лорена.

Сюжет картины так же, как все «классические» сюжеты Рембрандта — литературен.

Полные воздуха и света дали, на втором плане — лесное нагорье; группа Христа и апостолов — очень вдаль, а ближе — только пастухи, овцы и немногие зрители.

Перед картиной Лорена я сидел часто, но в редко нарушенном одиночестве; перед «Аристотелем» — всегда толпа. Но не перед другими многочисленными — слишком многочисленными Рембрандтами Метрополитэн-музея.

Пейзажи Клода полны воздуха и пространсто ощущимо.

Без эксперимента я могу утверждать, что никто из зрителей «даже не помнит» и не воображает, что перед ним плоское полотно, покрытое разными красками.

Почему? Этот вопрос крайне гносеологически современен.

«Трехмерное» пространство потеряло научную неприкосновенность.

Теперь эйнштенисты говорят, что это была ошибка «абстракционизма» и во всем виноват «этот гадкий Эвклид». «Эмпиристически» ошибочно отделять пространство от времени. Мы живем в «континууме», а не в пространстве и т. д.

Прежде всего, мы живем «в сознании» и, если мы настаиваем на «*donnee immediate*», мы должны установить не координату времени, а координату сознания.



«Представь себе» — сказал мне Дигамбар, — «что существует только плоскость — «второе измерение» и что ты живешь в нем».

Ты часть его: квадрат, круг или сложная форма. Ты можешь свободно двигаться на этом втором измерении.

Можешь ли ты сознать, что ты на втором измерении, если ты можешь встречать и видеть только линии?

Чтобы ясно видеть плоскость ты должен «выйти в третье

измерение — только тогда ты увидишь все формы второго измерения.

(Постарайся сосчитать квадраты линолеума, — лежа на полу!)

Если ты живешь на линии, — на «первом измерении», ты встречаешь только точки, и чтобы «сознать» линию — ты должен выйти на плоскость на «второе измерение».

Следовательно, — ты не можешь сознавать «своего» измерения, а только «низшее».

Ты сознаешь «третье измерение». Следовательно, ты живешь в четвертом измерении, — но можешь «видеть» это только из пятого измерения.

— Ты всегда смеешься надо мной, Дигамбар! — ответил я.

«Ты не будешь серьезно утверждать, что «увидал» наше — четвертое измерение из твоего «идейного» — пятого измерения.

— Я не «увидал», — отвечал мне Дигамбар, но думаю, что пятое измерение логичнее нео-научного четырехмерного континуума.



Вчера я думал о картинах полных воздуха, сегодня об американской рекламе.

Радио теперь часто говорит о «волнительном» exciting, о «новом» измерении.

Ничто не ново под луной; Эклезиаст говорит «под солнцем».

Мнение, что наше пространство «третьего измерения» — тоже сравнительно ново.

Может быть до Сезостриса Великого даже очень культурные люди плохо сознавали это.

В наше время это, конечно, сознается только «передовыми народами» т. е. людьми, имеющими искусственную школьную культуру.

Но и это теперь немного устарело. Гениальность и авторитет Эйнштейна заставляет многих верить, что мир, в котором мы живем есть четырехмерный временно-пространственный: «континуум» и что это четвертое измерение приходится на долю времени.

Континуум — это ясно, но время не может и не хочет быть четвертым измерением.

Противоположно мнению Эйнштейна, что только «не математические умы» не согласны с этим его «построением», — это не соответствует ни логике, ни математической очевидности.

«Измерения» имеют только восходящую характеристику — никогда не нисходящую: линии есть на плоскости, плоскости — в объеме, но нет объема на плоскости и нет плоскости на линии.

Поэтому четвертое измерение (если таковое мыслится) — должно содержать в себе все три, не будучи само в них данным.

Время же универсально, и мы не можем даже мыслить точки вне времени.



Мудрый Ницше говорил: «во всяком заблуждении есть зерно истины, также, как во всякой истине есть зерно заблуждения».

Вчера за обедом у племянника я неосторожно высказал свое категорическое отрицание «идеи» Эйнштейна, что «время есть четвертое измерение».

Это противоречит элементарной логике и математической очевидности.

Никакая «семантическая схоластика» не может изменить законов человеческого мышления и языкотворчества.

Так же, как никакое «ad hominem» не может быть серьезным аргументом.

«Ошибался» — не Эвклид, а человеческое сознание — по натуре ошибочное.

Но идея четырехмерного «континуума» — грубая ошибка, основанная только на «дефективном научном эвклидизме».

Она, может быть, принята только как «научная догма», говорят, «доказанная» практически астрономией и нуклеарной физикой.

Всвражая мне, мой племянник говорил: «второе измерение — это горизонталь (движение рукой вправо), третье измерение — это вертикаль (движение рукой вверх).

Какой абсурд! И как это верно!

В обычном «научном» сознании — второе измерение — это плоскость, а третье — это объем.

Но это явно ошибочное и «произвольное» мнение; оно появилось только в той стадии культуры, когда человек стал строить дома и уже научился умножать.

Логически (а, следовательно, математически) плоскость **не есть** второе измерение, а только абстракция, не существующая реально.

Третье измерение — **не есть** объем и тем более **не есть** пространство.

В действительности перед нами два «человеческих» акта: двойное измерение по горизонтали и умножение.

Только «слепая вера» и неумеренная самоуверенность побуждает нас идентифицировать меру плоскости с самой плоскостью.

Чтобы измерить объем мы должны сделать еще два акта: измерение по вертикали и умножение.

Снова мы идентифицируем наши «акты» с геометрической абстракцией — объемом, и этот объем считаем пространством.

Фактически же здесь три совершенно «несоизмеримых» плана: план реальности, план геометрической абстракции и план человеческой практики.

Идентификацию этих трех планов я называю «интерполяцией символов».

Процесс этот совершенно произволен и незаконен, — но неизбежен и натурален.

Только сознание **ирреальности** этого процесса освобождает нас от рабства «научного догматизма».

Исторически — сознание пространства самое древнее и свойственно всем живым существам; — геометрическая абстракция есть одно из достижений Homo Sapiens'a (Эвклид здесь совершенно ни при чем); сознание же «трех измерений» очень недавнее и явилось не раньше эпохи построения оседлых жилищ.



Сегодня пришел ко мне мой друг Хаким Омар Хайам.

— Друг Инд; салам!

— Я рад! Мой друг, развелся я с женой, Злой дочерью Разумности Земной;

— А взял я, — дочь красавицу Лозы, отныне неразлучную со мной.

— Я хорошо знаком с твоей молодой женой, Хаким; но я надеюсь, что ты не совсем порвал со своей первой женой.

Не она ли помогла тебе написать твой прекрасный трактат Алгебры и не по ее ли протекции ты был приглашен как астроном в почетную комиссию «восьми», составителей нового календаря!

И ваш труд: Календарь-Джалали конечно точнее Юлианского.

— Ты прав, Инд, — но моя первая жена уже не жена моя, и ты понимаешь эту разницу.

— Скажи мне, Хаким, как же ты продолжаешь быть астрономом?

— Это потому, Инд, что разум и опыт всегда в ссоре. Если я хочу правды, то я нахожу ее только в Алгебре, — но я живу в мире, а не в абстракции. Корень всех заблуждений — это математика. Она дает только символы истины, а жизнь, живая жизнь — «я и мир» — никогда математике не соответствуют.

— Я как раз, Хаким, хотел спросить тебя о твоем мнении

об Эйнштейне. Его учение о четырехмерном континууме, кажется, признано наукой и теперь проникло даже в обычную жизнь. Мы слышим даже по радио о «новом» и «волнительном» (exciting) измерении.

Многим это кажется «реальной» истиной.

Сам Эйнштейн убежден даже, что это всегда было так, и только признание этого было «затемнено» абсолютным «характером времени» до его теории относительности (стр. 30).

Он тоже настойчиво повторяет свое «true or not», «истинно или нет», основанное на часовом механизме (1 и 8 стр.).

Он отвергает «Эвклидову» геометрию потому, что (это почти невероятно) «она не соответствует реальности».

В то же самое время он сознает, что «основная задача науки» не может быть противоположна логике, что ученый должен синтезировать сумму своего опыта и привести его в «логическую систему» (1 стр.) и наивно находит, что его «пространство — временный континуум» «logically most satisfactory» логически наиболее удовлетворителен.

Он не видит логического противоречия, когда для своих «физических» целей пользуется арифметикой, которая тоже абстрактна и тоже никогда не соответствует реальности (not true).

Когда же ему не хватает словесной логики, он для связности прибегает к дифференциалам и интегралам, совершенно забывая, что это только прикладная алгебра — самая абстрактная из всех математик.

Не удивительно, что не различая абстракции от «фактизма», он думает, что абстрактно найденное уравнение это Закон Природы.

Он это пишет в скобках: «найденное уравнение — (Закон природы)» (24 стр.).

— Что же ты скажешь мне, Хаким?

— Математика, — отвечал он, как я уже тебе сказал, есть источник всех заблуждений.

Не все способны быть математиками, как был Пифагор, — но все способны выучить ее формулы.

Это и была участь Эйнштейна. Он — физик, и не только не математик, но даже и не подозревает, что такое математика.

Для него это только объективное доказательство истинности. Она дает ему возможность считать, вычислять и даже создавать формулы и уравнения. И он в невероятной непоследовательности воображает их «Законами природы».

Неудивительно, — и даже последовательно для него, — что он придумывает свое временное — четвертое измерение.

Алгебраически его ошибка проста: он не отличает умножения от сложения.

Он поправляет три измерения $A + B + C$ на $tA + tB + tC$ — что правильно, хотя алгебраически безразлично, а потом уверяет, что это равно $A + B + C + T$, что, конечно, ложно.

Четырехмерный континуум Эйнштейна — это только паллиатив его и нашего неведения; он не имеет никакого реального (true or not) и гносеологического значения.

«Эвклид» — только юмористический «ad hominem», а «Эвклидово пространство» (стр. 39 и 41), конечно, напоминает нам о Греции, как некий научный кентавр.

Этот мифический враг, как обычно, только призрак реального врага, и этот враг астронома и физика — мономорфизм. Всякое измерение, длины, тепла или электричества основано и возможно только при данной единице измерения.

Эта единица обычно только часть целого.

Но где же единица пространства? Ее просто нет, — есть только единица длины, а пространство измеряется алгебраически, как длина в третьей степени.

Этот дефективный монометризм и есть истинный враг астронома, он же ему и представляется кентавром «Эвклидова пространства».

Чтобы его победить надо или найти единицу пространства или, как это делает Эйнштейн, заменить монометризм — биметризм «скорости» (континуум — только новое слово).

Концепт скорости, вероятно, очень древний. Человек сравнивал скорость стрелы и ласточки — гораздо раньше всех геометрических абстракций.

Может быть, даже лучше, если физик не подозревает, что такое математика. Вероятно, это даже помогло Эйнштейну установить связь массы и энергии и понять движение Меркурия.

Меня тоже обманывал Меркурий, и римляне, конечно, не без причины называли так эту планету, — так говорил Хаким Омар Хайам.

— Вот почему, — сказал он, — я развелся с моей первой женой, взял в жены прекрасную дочь Лозы и предпочитаю думать «иначе»:

Вино, и хлеб, и рукопись стихов,
И ты со мной, и песнь твоя без слов . . .
А ветки пальм над нами, как в раю,
Безмолвно простирают свой покров.

— o —

Среди многочисленных иностранок, приехавших в этом году в Нью Йорк ('63), наиболее сердечно была встречена Мона Лиза.

Ее поместили в большом средневековом зале, где нет других картин; французский посол был встречен в Метрополитэн-Музее дирекцией и мэрсм Нью Йорка; были речи, вспышки «флашь-лайтов» и изысканная публика.

Только на многочисленных фотографиях торжества никто не сделал надписи «Реальность и Фикция» — это было бы слишком недипломатично.

Что касается представителя Италии, то его, тоже дипломатически, не пригласили.

От главного подъезда музея был сделан специальный, с барьерами, вход, а от картины — выход в другую сторону.

Мона Лиза Джокондо пробыла в музее около месяца, и за это время ей отдали визит около полутора миллиона посетителей. Этого даже сами устроители, вероятно, не ожидали.

Настроение было повышенное. Временами толпа была так значительна, что специально тренированные служители просили не останавливаться, а только проходить.

Конечно, среди посетителей было много «просто публики», но было также много художников и ценителей, — были даже животные.

Мальчик лет четырнадцати принес с собой свою любимую собачку.

Она была не очень велика и он тщательно спрятал ее в складках своей пелерины от зоркого глаза зрителей у входа; но подходя к портрету, он приоткрыл ее немного и сказал: «Смотри хорошенько, у тебя не будет более такого благоприятного случая».

Служащие, конечно, бросились на него, но было уже поздно: цель была достигнута — собачка тоже была приобретена к искусству.

Много месяцев спустя, министр Андре Мальро (Andre Malraux) произнося одну из своих речей в Национальном Собрании вспоминает это удивительное событие.

Он был доволен и горд, что Джоконда «была встречена в Соединенных Штатах Президентом, Сенатом и (la Cour supreme) и высшими сановниками, как никто из живущих никогда не был встречен. Я — говорил Мальро — сам видел в Вашингтоне (городе с большинством негров) черных женщин с детьми на руках; они подходили к картине с опущенным взором. Перед портретом они поднимали вверх малышей и потом исчезали в толпе».

И как министр дипломатично, но не очень логично, он заканчивает речь: «Миллионы людей приходили чтобы как-то (d'une certaine façon) поблагодарить Францию».

Правда ли, что Мона Лиза лучшая картина Возрождения?

Или лучшее творение Леонардо?

Или лучший портрет?

Или самая «адекватная» женщина?

На все эти вопросы мы можем, или промолчать — или ответить отрицательно.

Почему же такая «сверхъестественная» популярность?

Может быть, причина — личное обаяние Моны Лизы Джокондо?

Причина — этот «мистический свет», так ясно замеченный Максимилианом Волошиным у «царевны солнца — Таях и сквозь покрывало Моны Лизы».

В напрасных поисках за Ней
Я исходил земные тропы
От Гималайских ступеней
До древних пристаней Европы
.....
Но неизменна и «не та»
Она сквозит за тканью зыбкой . . .
И тихо светятся уста
Неотвратимую улыбкой.

Но если мы предположим, что личное обаяние — причина успеха, то будет непонятно всеобщее преклонение без различия пола, возраста, расы и общественного положения.

Мне кажется, что единственным ответом может быть гипотеза универсальности интерполяции символов.

Конечно, между пространством комнаты и ее измеренным объемом по существу нет ничего общего, тогда как Мона Лиза есть неотъемлемая часть живписи ее эпохи.

Но психологически — процесс тот же: это удобная и прагматически полезная замена.

Итальянская живопись эпохи Возрождения — явление категорическое в истории человечества и в истории реального прогресса.

Современная мысль обычно имеет совершенно искаженное представление о прогрессе, как о явлении общем и непрерывном.

Только поэтому Шпенглер считает наше время регрессивным.

Прогресс человечества так же сложен, как прогресс всех живых организмов.

Трудно отрицать, что как «приматы» — мы сделали большой прогресс; но не как люди. Необходима долгая и дифференцирующая дискуссия для выяснения нашего, уже человеческого прогресса.

Так же, как некоторые виды некоторых раковин остались таковыми миллионы лет, многое и по-человечеству, — остается неизменным, многое — регрессирует, и только часть реально прогрессирует.

Был ли прогресс в живописи? Конечно, был, но только до эпохи итальянского Возрождения. После же, начиная от «барокко», — только развитие и упадок.

Аналогичен прогресс в скульптуре. Он закончился в Греции в «эпоху Перикла». Вся последующая скульптура — римской эпохи и вся скульптура Возрождения — только подражание и упадок.

Я называю эту последнюю стадию прогресса — Эпифанией.

Скульптура Греции, итальянская живопись эпохи Возрождения и немецкая музыка на рубеже девятнадцатого века, — это вершины «Гималаи».

Мы еще почти современники Эпифании немецкой музыки.

Было легко и почти верно говорить, что Моцарт — Рафаэль музыки, а Бетховен — Микельанджело.

Но после них — никакой прогресс невозможен: нельзя «пешком» подняться выше Гималаев.

Человечеству свойственно преклонение перед реальным прогрессом; но не всем доступно и понятно его «четырёхмерное» измерение.

Гораздо легче найти заменяющий символ.

«Мона Лиза» и стала таким интерполированным символом итальянской эстетической Эпифании.



Мы мыслим словами — и только словами.

Даже некоторые серьезные психологи повторяют это заблуждение, как непреложную догму, хотя самый элементарный «эмпирицизм» говорит нам обратное.

Если бы это было так, то все глухонемые были бы идиотами и «недумающими».

Однако известно, что обычно они бывают скорее хитры.

А что касается ума и хитрости животных (и еще не говорящих детей), то этот факт покрывают ничего не говорящим словом «инстинкт».

Но нет более яркого примера искусственности этой формулы — как существование и развитие математики.

Никто, даже самый математически неспособный, не говорит про себя «два и два — четыре, а просто, если видит 2 плюс 2, то умозаключает и пишет рядом: равно 4-м.

Когда Пифагор думал о своей знаменитой теореме, он, конечно, не произносил никаких греческих слов. Он просто мыслил геометрически в геометрических символах.

Он сравнивал и приспособлял более сложные символы к более ясным и простым.

Отпадает поэтому и паллиатив «абстрактного мышления», потому что нет ничего более абстрактного, чем математика.

Конечно, многие теперь «думают» словами более, чем мыслями.

Но это только пагубная привычка и причина многих заблуждений.

В действительности, слово — это только один из многообразных жизненных символов.

Интересен вопрос, почему человечество выбрало, среди многих, звуковой символ — слово.

Казалось бы, что зрительные символы более спонтанны и всеобщы.

Мне кажется, что причина — не качество, а количество.

Звук слышен всегда и днем, и ночью, а свет часто отсутствует.

Но это, конечно, факт: человек выбрал слово, как свой **ОСНОВНОЙ** символ.

Но и только.

Ничто, поэтому, не более современно и философски-прогрессивно, как исследование о математике, как языке.

Нужно надеяться, как надеется сам автор, что книга Расселя «Вступление к математической философии» (Bertrand Russel — Introduction to Mathematical Philosophie) — будет плодотворна.

Нужно надеяться, что кто-нибудь будет достаточно заинтересован (XII. 12), чтобы продвинуть исследование о математической логике.

Конечно, для Математической философии Философия математики могла бы сделаться хорошим Введением — если только цель оправдывает средства.

Только в конце книги, как выводы, мы находим такие основные истины:

«Мы могли бы понимать и выразить все математические предложения и все доказательства, если бы даже мы не знали ни единого слова никакого другого языка» (стр. 200).

Правильные выводы часто могут быть случайным результатом совершенно неправильных или нейтральных предположений.

Схематически книга Расселя похожа на такой силлогизм:

Некоторые племена Банту называют себя «Оводами».

Сократ — негр.

Сократ называет себя «Оводом».

Вывод совершенно правилен и фактически, и логически: Сократ действительно называл себя «оводом».

Иначе: безразличный тезис и ложный антитезис — могут дать истинный синтезис.

Безразличный тезис Расселя — это «арифметизм» математики.

Он называет его «основным своим положением» (our starting point, page 2) и так прагматично его формулирует: «Очевидно, что для средне-образованного, современного человека исходный пункт (starting point) всей математики — это ряд целых чисел».

(To the average educated person of the present day the obvious starting-point of Mathematics would be the series of whole numbers).

Это правильно только исторически (*our day*) и прагматически (*obvious*), но ложно логически и математически (*de facto*).

Когда *Homo Sapiens* абстрагировал свой опыт, то: один день — два дня, одна женщина — две женщины, один крик — два крика, — кристаллизировались в его сознании как один, два, три и т. д.

Но считать арифметический ряд основой математики так же ложно, как думать, что математика есть наука об измерении.

Генезис — не адекватен феномену.

Наоборот — арифметический ряд есть только неизбежный остаток исторического прояснения математического сознания.

Это последний остаток хроматизма «вещности» в математике.

Математически развитые индивидуумы очень скоро, поэтому, перешли от арифметических символов — к алгебраическим.

А в наше время «Теоретическая Арифметика» есть Алгебра четырех основных действий, т. е. отношений.

Она не пользуется арифметическими символами, а только алгебраическими именно потому, что это «теория», а уже не практика. Алгебраические символы более абстрактны и потому — более математичны.

Они указывают яснее на основное качество математики, как науки об отношениях.

Математика — это единственно научная «Теория относительностей».

Если «арифметизм» ошибочен логически, то прагматически и исторически (*average man of our time*) он, конечно, имеет оправдание.

Этого нельзя констатировать в ряде других предпосылок Расселя.

Он базируется на «аксиомах» итальянского волапюкиста — синьора Джузеппе Пэано.

Первая нелепейшая «аксиома».

«Ноль — есть число».

В устах философа — она просто удивительна.

Казалось бы, что элементарная логика говорит нам, что «ноль» это значит: «не есть» и никакой положительный атрибут не может быть ему приписан, ни «число», — ни что-нибудь другое.

На опыте же, практически, каждый математик знает обратную «аксиому».

«Остерегайся нуля!»

Всякое число деленное на себя — есть единица: $A:A$ равно 1, но не ноль, деленный на ноль. всякое число деленное на другое — есть дробь, но не $0:A$ и т. д.

Есть интересная математическая шутка: доказательство, что 3 равно четырем.

После ряда совершенно правильных действий — это делается «очевидным».

Шутка эта основана на применении «первой аксиомы» синьора Пеано.

Логический вывод такой: если ноль есть число — то три равно четырем.

Но и обратно:

Так как три не равно четырем — то ноль не есть число, что ясно и без помощи этой «удачной ловушки».

Ясное взаимоотношение «числа», единицы и нуля нам дает уравнение $A^0=1$.

Кроме доверия к «аксиомам» синьора Пеано (не смешивать с Теано!) общий недостаток книги — это доверие к искусственным терминам.

Замечательная по идее книга — тоже любопытный пример вербалистической схоластики.

Не переводима «формула», определяющая понятие «число».

“The number of a class is the class of all classes — that are similar to it” (page 18).

Ясное сознание математики как языка не избавляет Расселя и от преувеличений.

Ему ясно, что математика только пользуется словами в педагогических целях.

И как, после такой предпосылки, не логично говорить, что «если еще есть кто-нибудь, кто не признает идентичности логики и математики, то почему?» (стр. 195).

Сам Рассель дает ответ:

«Они отличаются как мальчик и муж зрелый». (стр. 194).

Но разве они идентичны друг-другу?

Я предпочел бы метафору женщины и мужчины, но реальная разница указана вышеприведенной фразой.

Математика — бессловесна: $2 + 2 = 4$ — это символ Истины, а два плюс два есть четыре — это русская фраза, “propositional function” по Расселю.

Всякая фраза, всякое предложение включает в себе всегда элемент неопределенности, «undeterminal constituent».

Конечно, существует интерлогическая законность, свойственная всем «языкам», всем символам жизни, но степень этой законности различна и в зависимости от нашей способности, и нашей приспособленности к данному «языку».

Наивысшей степенью законности обладают, конечно, математические символы.

Логика математики неоспорима для всякого нормального человека, начиная с «два плюс два равно четыре» и до сложных интегральных форм.

Но как только мы переходим к звуковым, словесным символам, степень логической законности понижается сразу.

Заслуга Аристотеля и греков — это экспериментально уловить и словесно формулировать эту законность.

Все же никакой силлогизм и никакая закономерная индукция не дают нам приближения к математической законности.

Вот почему всякая вербализация математики и обратно — всякая анти-аристотелевская семантика — совершенно бесплодны.

Слово — не цифра.

Это было ясно многим софистам.

«Если ты жаждешь Истины — ты должен молчать».

В этом основная разница логики и математики.

Эта разница делает всякую попытку «вербализации» — покушением с негодными средствами.

«Моя философия — это я», говорит нам математика.



Неудачная попытка вербализировать логику математического мышления все же как существенный результат приводит к этому сознанию разницы слова и знака (символа).

Два — не 2.

Этот последний символ теперь универсален, Индия — его родина, но его отечество — весь мир.

Два — только русское слово.

И это различие может быть базой экспериментальной логики.

Логика Аристотеля, конечно, тоже экспериментальна, но ее опытный характер — не выяснен; и многим логика Аристотеля кажется неоправданной догмой.

Надо опасаться смешения субъекта и предиката.

Экспериментальная логика — не логика творческого эксперимента, как думает Дюи (John Dewey — *Essays in Experimental Logic*).

Экспериментальная логика должна быть частью Экспериментальной психологии, как, соответственно, мозг есть часть человеческого тела.

Но правда ли, что мозг — единственный центр человеческого сознания?

Не может ли человек думать также глазами?

Я решаю этот вопрос положительно. Но когда я пишу «словами», а не красками или уясняю себе взаимоотношение геометрических форм, я тогда предпочитаю Аристотеля — «не Аристотелям» и Эвклида — «не Эвклидам».





В дни моей молодости я писал:

«Цветут у вод молчанья,
Как мир греховные, но трепетно родные,
Цветы миропознания».

«Цветы миропознания» — это была тогда только шаблонная метафора.

Были «Северные цветы» и даже «Северные цветы ассирийские» и это название было только обычным подражанием Греции:

Антологии — про-цветали.

Но почему поэзия связана с цветами?

Весь мой Дневник основан на идее, что искусство — источник познания, «язык».

Греки понимали познавательное и религиозное значение цветов.

Антология — не только «собрание цветов», но и «язык цветов».

Веспнее цветение было связано с ощущением потусторонности, а «человек» связан с цветением.

Поэтому слово «антропос» — человек — того же корня, что «антос» — цветок.

Скопас и Пракситель говорят нам о языке тела: это эстетическая антропо — логия, но только поэзия — язык «покойных» и язык цветов — «анто — логия».

Праздник богини Персефоны носил имя Антесфорий, а праздник цветов — Антестерий — был праздник «поминовения».

Когда время цветов проходило, то был возглас «Улетайте, Керы! Миновали Антестерии!».

Цветы — дар умерших.

Отношение к цветам современного человека различно и обычно воспринимается только как эстетический феномен: это украшение.

Но почему тогда даже для него живой цветок совершенно отличен от имитации, даже прекрасной?

Это «почему» покрывается не очень удовлетворительным паллиативом «благоухания».

Многие цветы — без запаха.

Но разве «современный человек» это современный европеец?

Вчера я был в Музее Естественной истории, где нам каждую среду показывают фильмы о разных странах. Сначала на программе были «Сады Японии», а затем «Икебана».

Никогда не слышал о таком городе. — Но это не город! Это — слово и оно обозначает «голос цветов».

В Японии многие слышат этот голос, хотя, конечно, большинство только видит цветы.

Есть даже школы, где преподают основные догмы «Икебана».

Конечно, большинство студентов школы только повторяют и «на память» усваивают некоторые эсто-философские мысли.

Но разве язык математики не так же усваивается большинством?

Мы знаем, что даже многие «великие ученые» выучивали всю математику от альфы до омеги, но никогда не слышали ни одного математического слова.

Может быть, даже — то же самое со словами языка.

Особенно среди тех, которые думают только словами.

Вопрос — почему цветы не только феномен красоты, но и феномен познания — очень сложен.

Я получил из Токио книгу Охи: История Икебаны (*History of Ikebana by Minobu Ohi*).

В древнейшей японской хронике Нихон-Шоки мы читаем: «Каждое растение может ясно выразить себя» (стр. 4).

Но для многих Икебана сделалась только «способом выражения человеческих чувств» (стр. 17) и — как следствие — дегенеративный «авангард» Зен-ей-бана (*zen'ei-bana*) стал пред-

почитать «различный материал, рассматриваемый как объем, и краски» (стр. 35).

Неудивительно, что уже в шестнадцатом веке многие тексты (*Densho*) «указывают на неуклонное стремление к скрытости» (стр. 17).

Случалось тоже, что на ветвь в большой вазе вешали полоску бумаги, с написанной на ней поэмой (*waka*).

Конечно, это не столько для «удовольствия любителей поэзии» (стр. 11) — как выражение осознанной связи цветов с поэзией.

Мы должны отметить, что если бы никто не слышал голоса цветов, то «Икебана» и факт ее существования, как «школы» — был бы непонятен.

Как, вероятно, непонятен он большинству культурных европейцев.

— Ты видишь, — сказал мне Дигамбар, — что человеческая мысль колеблется между математической точностью и эстетической реальностью.

Человеческое слово тоже колеблется между этими двумя полюсами.

Силлогизм и поэзия — два полюса словесного сознания.

Жажда Истины присуща каждому человеку, даже очень низкого уровня сознания.

Каждый дикарь знает, что «солнце восходит каждое утро».

Истина эта так глубока, что никакое астрономическое знание не позволит нам сказать: «мы летим навстречу солнцу».

«Солнце восходит» — это Истина без всякого отношения к физическому факту.

Ошибочность свойственная Феноменальному миру, но не миру идей. И не потому, что ошибочность не свойственна «нуоменам», а потому, что мы можем воспринимать и понимать только феномены, явления. Прогресс современной науки понуждает нас переоценивать ее достижения и ее познавательную ценность.

Мы легко забываем, что научный прогресс, именно как прогресс, есть только результат математической базы современной науки.

Математика же — это только максимальная абстракция, позволенная человеку. Она *de facto* не дает никакой возможности, никакого измерения.

И только поэтому в математике мы даже не можем предположить существование какого бы ни было пессимизма и агностицизма.

Математические истины универсальны; в математике нет собственных мнений.

Я вспоминаю прекрасный египетский барельеф: Фараон Сети приносящий богу Амону «изображение» Истины.

И мне кажется, что для современного научно-формированного, обычного сознания лучшим символом Истины есть

$$2 + 2 = 4$$

Сегодня я получил письмо от сестры из Рима.

Она пишет, что дает уроки русского языка, чтобы иметь цель в жизни.

Я тотчас же ответил ей, радуясь случаю высказать свои этические идеи.

Я писал:

«Ты знаешь, что я артист: музыкант и поэт, философ и художник, и поэту я не вижу существенной разницы между «целью» и «языком».

Всякое искусство — только выражение, экспрессия, то есть, «язык».

Иногда это «голос Безмолвия», как без воспоминания о Блаватской, назвал свою книгу Андрэ Мальро.

Живопись, скульптура, а также и танец — говорят безмолвно.

Я не знаю не всякая ли человеческая работа, всякая акция — есть язык.

Английский философ Берtrand Рассель доказал с очевидностью, что даже математика — это только язык.

И что все математические формулы могут быть вы-

ражены и доказаны, даже если бы мы не знали ни одного «словесного» языка.

Поэтому всякое жизненное выражение, акция — есть искусство. И цель жизни идентична с целью искусства, как выражения, экспрессии.

На память приходит когда-то и где-то прочитанный рассказ.

Я забыл содержание. Помню только зоо-софическую часть рассказа. Звери беседуют и каждый говорит о цели своей жизни:

Блоха — любовь считает целью жизни.

Свинья — наслаждение (особенно от пищи).

Червь — смерть.

Лошадь — работу.

Обезьяна — самоусовершенствование.

Соловей — искусство (и пение прежде всего).

Лисица — помощь слабым (выбирая более крупных).

И только всегда презрительный Верблюд не видел никакой цели жизни.

Целая гамма житейской Этики.

Мне всегда казалось, что этика — самая парадоксальная часть философии:

Поведение должно быть следствием психологического сознания, а не логического определения; должно быть имманентным, а не «категорическим императивом».

Все эти «звериные» цели жизни, если их «логизировать» — дают целый ряд нео-греческих или латинских «измов».

Блоха — эротизм (если даже идеализированный).

Свинья — гедонизм.

Червь — мистицизм.

Лиса — альтруизм.

Лошадь — лабуризм.

Обезьяна — прогрессивизм.

Соловей — эстетизм.

Верблюд — нигилизм.

Но все эти «измы» гораздо чаще — не результат императивов, а только способ отрицательной критики.

Для блохи все «другие» — черствые эгоисты;
для свиньи — смешные аскеты;
для лисицы — скупые и сухие;
для лошади — бездельники и лентяи;
для обезьяны — возмутительные реакционеры;
для соловья — жалкие мещане; и
для верблюда — глупые иллюзионисты.

Все очень человеческие, но едва ли философские реакции.

Возвращаюсь к твоему письму;

Под влиянием личных и исторических условий ты выбрала «идеал» лошади — работу.

Выбор твой может быть неоспоримым, если считать, что жизнь есть работа.

Это тоже «интерполяция», и если это так, то все звери — правы, даже свинья.

Дело только в том, какую работу ты выбираешь.

Мне вспоминается стихотворение в прозе Джованни Папини «Peghe». Я когда-то перевел это свободным стихом:

Я спросил рыбака «зачем,
Зачем ты бросаешь сети?»
— А на выручку пью я и ем,
Женат я и есть у нас дети.
— Но зачем все житье-бытье?
Где смысл, назначение, — цель где?
— Назначенье — работать мое,
Ловить и сардинки и сельди.
Земледельца спросил: зачем
Ты жнешь и сеешь без цели?
— Дуралей ты, я вижу, совсем
Мели, пустомеля Емеля.
У ребенка спросил я, — скажи,
Зачем ты срываешь розы?
— Для Мадонны. Е ногам Госпожи

В часовню над Аква-Четоза.

— Но молиться зачем? Играй,

Грехов у тебя немного!

— Нет. Когда я умру, то мне в рай

Мадонна укажет дорогу.

Поэтому единственно разумная работа — это молитва.

Но и всякая работа, как это сказал еще святой Бенедикт — только бессознательная, не сознанный молитва».

Я кончил письмо и вышел в сад. Темнело и солнце еще бросало свои прощальные лучи через засыпающие кусты и стволы старых лип.

Там встретил меня Дигамбар. Я прочитал ему письмо и спросил:

— А ты? Что скажешь ты мне о цели жизни?

— Я скорее спрошу тебя, — ответил он, — почему ты не сумел сказать ничего о черве. Между тем — только он дает действительный ответ, все же другие звери говорят не о цели, а о способе достижения этой цели, об избранной ими же деятельности.

Работа, благотворительность, искусство — все это разные виды деятельности, часто избранные случайно или по закону Кармы.

Подумай. Когда ты пускаешь стрелу, разве путь стрелы — это ее цель?

И не в конце ли пути стрела может попасть в цель?

Поэтому только Червь — сказал истину и только смерть — есть цель жизни.

Конечно. Это еще ничего не говорит тебе.

Мало, очень мало, — добавил Дигамбар, — знаешь ты о жизни, и ничего не знаешь ты о смерти.

Не печалься и не будь так мрачен. Ночь тиха и воздух прозрачен.

А возлюбленная твоя давно, нетерпеливая, ждет тебя у опушки...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ю. ТЕРАПИАНО. Андрей Седых. «Земля Обетованная».

Нью Йорк, 1966.

На исходе второго тысячелетия нашей эры еврейский народ стал свидетелем чуда, которое он сам же был призван осуществить.

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет там нарцисс; ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждающая земля — в источники вод». (Исаия, гл. 35, 1-6,7).

А Иезекиил (Гл. 11, 17) как будто предвидит недавнее воскресение Израиля: — «Так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которых вы рассеяны: и дам вам Землю Израилеву».

После второй мировой войны весь мир явился свидетелем предсказанного пророком возвращения Израиля «из земель, в которых он был рассеян», и той титанической работы, которую совершили и продолжают еще совершать граждане этой небольшой по размерам страны, в течение веков превращенной в бесплодную пустыню ее завоевателями.

И вот, некогда плодороднейшая и прекрасная страна Давида и Соломона, воскресла вновь, и там, где еще недавно были песок и голые скалы, опять появились сады, обработанные поля, пальмовые и апельсиновые рощи.

Андрей Седых прекрасно выбрал из Библии эпитафю для своей книги, а то, что он видел в Израиле, он умеет показать чрезвычайно убедительно, в ярких, запоминающихся описаниях, со многими статистическими и историческими справками и с объяснением недавних событий.

Да и как может не привлекать внимание читателя описание такой страны, где с каждым названием реки, местности, города или озера у всех, христиан и евреев, связаны события Ветхого и Нового Завета?

Описание городской и сельской жизни Израиля, его ставших знаменитыми во всем мире «кибуцов», борьбы с песками в Негеве, усилий применить в прежней отсталой стране современную технику сельского хозяйства, развития промышленности там, где еще недавно ничего не было, наконец, сведения о культурной жизни нового государства — все это сделано Андреем Седых так увлекательно, что, начав читать его книгу, не можешь от нее оторваться.

Но параллельно с внешним строительством своего государства, люди создающие Израиль выполняют еще и другую, быть может, даже более удивительную работу — воссоздание души своего народа.

— «Не ищите в толпе», — говорит Андрей Седых, — «какой-то общий «израильский тип». Вы увидите русских евреев, французских, немецких, алжирцев и афганцев. Они — русские евреи, алжирские, индусские, и все они — израэли. В Израиле сейчас выковывается новая, единая нация, которая через несколько десятилетий будет говорить на одном языке, воскрешенном языке Библии, на котором уже сегодня говорят все дети школьного возраста и все «сабры», т. е. рожденные в Израиле молодые люди».

А прежде многих и за евреев признать было невозможно.

— «Сейчас в Израиле. — рассказывает Андрей Седых, — 150.000 иеменитов. Эти евреи почти два тысячелетия были оторваны от остального еврейства, но сохранили веру и свой древний язык... Многие из них никогда не видели автомобиля... И вот пришел момент нового исхода. Иеменитские евреи двинулись в дальний путь пешком через пустыню, в сторону Адена. Здесь ждали их «крылья орла» — американские самолеты, на которых измученные и потрясенные люди были доставлены в Землю Обетованную».

Но, заботясь о своем народе, евреи не сделали шовинистами.

В Хайфе помещается центральный храм возникший в Персии в середине прошлого века религии Бахай — во всем мире сейчас имеется несколько миллионов ее последователей.

Недалеко от Хайфы находятся поселения друзов. Их в Израиле 26.000, главная же масса друзов живет в Сирии. Друзы имеют свою собственную религию — смесь христианства, юдаизма и магометанства.

Но не только бахаисты и друзы являются лояльными гражданами Израиля, на его территории живут и арабы и берберы.

Они пользуются всеми правами, имеют свои мечети, и евреи стараются приучить их к оседлой жизни, ознакомить с рациональными методами земледелия и с ремеслами.

Назарет — единственный город в Израиле, где большинство населения составляют арабы. Из 32.000 жителей только 7.000 евреев. Но местные арабы почти все христиане. Обстановка их жизни, по красочному описанию Андрея Седых, самая экзотическая.

Не менее интересно описание «города каббалистов», Сафед, духовного центра последователей «Предания» («каббала» означает: «предание»), перебравшихся туда в пятнадцатом столетии, после изгнания евреев из Испании.

Не нужно забывать, что испанские каббалисты-мистики, бежавшие от преследований также во Францию и в Германию, сыграли большую роль в образовании христианской эзотерической традиции, так называемой «христианской каббалы», принятой во всех мистических группировках Западных стран, яркими представителями которой были Аббат Тритемий, Кунрат, Кирхер, Агриппа фон Неттесгейм, Парацельз и др.

В Иерусалиме (разделенном на две части — еврейскую и арабскую) находятся сторонники тех еврейских религиозных настроений и сект, которые отстаивают необходимость староеврейского уклада жизни. Там у них четыре синагоги, обращенные фасадом туда, где некогда стоял храм Соломона.

Но если главная еврейская святыня в Иерусалиме, не считая недоступной сейчас Стены Плача, — Сионская Гора, на которой «почил Давид со отцами своими», то рядом — святыни христианские.

Андрей Седых с таким же вниманием и пониманием видит в Земле Обетованной не только свое, но и чужое, и умеет передавать духовную атмосферу христианских святых мест так, что читатель-христианин вместе с ним как бы совершает паломничество.

Не буду останавливаться на этом «паломничестве», так как об этом уже прекрасно рассказала Ирина Одоевцева в своей статье о «Земле Обетованной».

Отмечу лишь одну характерную черту, которая, кстати сказать, проявляется не только в Израиле, но и вообще в эмиграции.

У очень многих евреев, выехавших из России, сохранилась любовь к русскому народу, к России, к ее обычаям.

Они учат своих детей русскому языку, читают русские книги, интересуются русским искусством.

— «Как нам сейчас не хватает русских евреев! — сказал Андрею Седых бывший премьер-министр Израиля Бен Гурион. — «Знаете, — прибавил он, — «я глубоко убежден, что России евреи не нужны».

Тут, невольно, хочется сейчас же возразить Бен Гуриону: — Нет! Почему вы думаете, что нам не нужны Осип Мандельштам, Борис Пастернак и многие, многие другие?

В «Земле Обетованной» Андрея Седых тоже присутствует, столь характерная для русской культуры, способность смотреть на все не с узко-национальной, а со «всемирной», всечеловеческой точки зрения.

— o —

ВИКТОР МОРТ. Н. Белавина — «Земное счастье».



Эта изящно изданная книжка переключается с первой, название которой «Синий мир». Они обе органически связаны не только тем, что в них преобладает синий свет, а еще и тем, что ярко видно, как земное счастье поэтессы связано с тем синим миром, о котором она пела в первой книге стихов.

И опять стихи в этой книге бодрые, зовущие, полные оптимизма. А это так нужно, так отрадно. Вот, например:

Жизнь я все еще тебя целую!
И твоею дружбой дорожа,
Я кучу с тобой напропаляю
На твоих чудесных кутежах!

.....

Но бунит, как шальной мальчишка
Сердце некорное мое!

.....

Новый год? Но годы не волнуют
Мне считаться с ними недосуг

Нужно быть человеком глубокой веры в свои силы, чтобы крикнуть Судьбе, которая многих из нас уже сломила, такие слова:

Знаю, что буду последней
Засмеявшейся в нашем бою!

Крепко сказано и видно, что это не рисовка. Читашь и черпаешь мужество из источника поэтессы. Как и в первой книге она посвятила чудесные строки и сыну и мужу. Кстати, многие ли из наших поэтов посвящают свои стихи своим женам и детям?

Давай же дружно подытожим
Прошедших лет шальной полет.

или же :

И по развалинам и тленю
Мы все же к счастью добрели.

Она не побоялась этого слова, смысл которого так давно утерян нами.

Цуский стареем. Ну, так что ж?
Всему на свете свой черед.

И вот на грани бытия
Скажи мне, можно ль быть богаче
Чем ты и я?

Инстинктивно чувствуется, что это не просто слова, а что она действительно богата земным счастьем:

И не тает время на лету
И пьянея солнечными днями
Я в душе неистово цвету
Всеми небывальными цветами.

Может быть мне вечный календарь
Жизнь у колыбели подарила.

А в «Синем мире» она говорит о душе:

Никакие календари
Никогда ее не состарят.

Как это радостно звучит!

Как бы хотелось самому так сказать. Да, где уж. А вот эти слова обращенные к любимому человеку:

Да разве нам призвания нужны,
Когда я жизнь, как праздник славословлю.
Ведь нас связали нити седины
Навек неумирающей любовью!

Прекрасно сказано! Эту радость жизни автор преподносит во все-возможных образах:

И все же, как в яблоко, с влажным хрустом
Вгрызалась в жизнь всегда!

А в другом месте так:

Труд еще мой не клонит плечи,
Словно ввек мне не устать
Годы! Вам со мной бороться нечем!

.....

Так может сказать только человек, верящий в свои силы и имеющий их непочатый край. В «Синем мире» поэтесса говорила сыну:

Если будешь ты послушным
И уснешь сейчас,
Сны нашепчут тебе в ушко
Новый ряд проказ.

Так было. И уже в новой книге мы слышим:

Что ж! Иди! И если сердцу больно,
Если тяжело вдохнуть,
Губы сжав, крещу тебя спокойно,
Отпуская в путь!

Извечная материнская доля . . . Но я был бы глубоко неправ, если бы не отметил то, чего не было в первой книге. Это и не «обнадеживающий пессимизм» — до этого еще далеко и я уверен, что от Белавиной такого мы и не дождемся — и не «безнадежный оптимизм». Тут есть золотая середина. Но именно золотая, а не «свинцово-серая». Назовем это «печальной радостью земного счастья», потому что грусть, которой отмечены некоторые стихи очень далека от той, которая присуща многим нашим зарубежным поэтам. Эта грусть бодрящая и в этом огромная заслуга Белавиной. В своем обращении к Богу она нашла такие слова:

Если Ты друг к другу нас направил
Если Ты хранил нас и берег
Ты не можешь нас теперь оставить
В середине спутанных дорог.

Это стихотворение (стр. 12) я считаю одним из сильнейших в книге. А препирательство с Судьбой не прекращается. Автор верит (не в пример многим поэтам) в удачу:

На шнурок нижу неудачи,
А удачи нигде не найти.
Но не жди Судьба — не заплачу
Я на трудном своем пути!

.....

Обломаю ногти о камни,
Но в борьбе не сломишь меня.

Уже о счастье поется несколько иначе:

Словами о нем нельзя рассказать
И рвется душа на части.
И дивно и жутко смотреть в глаза
Такому странному счастью!

Очень хорошее стихотворение «В Вене». Кусочек биографии поэтессы. А вот это уже звучит настоящей грустью:

Страшно жить со сломанной душой
С этой нескончаемой болью.

Но страшно мне, что эту чашу горя
Не удержать в слабейших руках...

Но все же :

Навеки хватит земного счастья —
Дышать им в райском краю...
Словно глоток вина за причастьем
Так эту жизнь я пью.

Нонна Белавина поэт законченный и зрелый. Ее стихи вы можете встретить во всех зарубежных изданиях. Она не замыкалась в узкие рамки письменного стола. Она выступает, делает доклады, путешествует, обогащая свой поэтический дар встречами и обширной перепиской. Ее произведения дышат любовью, радостью и верой в хорошее. Это радует читателя. Она не хандрит, не «кукуется», не плачет и не живет ожиданием «конца». Она живет настоящим, находит в нем самое лучшее и этим придает бодрости нам уставшим и изверившимся. И о любви, и о семье, и о жизни, и о людях даже она находит слова полные оптимизма, так необходимого нам в этой тяжелой и порой безотрадной действительности. Когда-то писатель Осип Дымов написал пьесу, долго не сходявшую со сцен русских театров. Это был «Певец своей печали». Так вот о Белавиной можно сказать, что она «певец своей радости» и ею она щедро делится с нами. В этом огромная заслуга поэтессы. И если она не сойдет с этого пути, она будет единственной в своем роде и под ее знаменем с девизом «ЗЕМНОЙ РАДОСТИ» пойдут многие ее неимеющие, но жаждущие, ждущие этой радости. Пожелаем же, чтобы третья книга талантливого автора не обманула наших надежд и, чтобы мы могли сказать словами автора:

И подойдя к последней из разлук,
Почувствуем душой открытой настежь,
Что не разнять упрямо сжатых рук,
В которых все ЗЕМНОЕ НАШЕ СЧАСТЬЕ!

Да будет так!

Автобиография Сергея Лифаря «Моя жизнь», изданная по-французски в Париже является замечательным человеческим документом.

Редко на долю одного человека выпадало столько трагических, часто безнадежных моментов; и в то же время такой славы, таких головокружительных достижений и взлетов, как на долю Лифаря.

Еще с детских лет он пережил испытания жестокой судьбы — потерю родных, страшное одиночество, ужасы кровавых событий революции в Киеве. Еще мальчиком он видел окровавленные и изуродованные тела в Чека, жуткую сцену нахождения окровавленной казачьей головы на острове, расправу с кадетами на Софиевской площади, от которой он чудом спасся. Но уже тогда его жизнь была отмечена железной волей гения для творческих достижений в искусстве.

В 1923 г. он бежал из Советской России в Париж, для того, чтобы посвятить себя искусству танца и был принят в труппу Дягилева. Так началась его карьера, которая привела его к мировой славе, хотя путь этот был тернистым. Дягилев был поистине его духовным отцом, у него было исключительное дарование почувствовать в человеке талант и способствовать его выявлению. Но этот человек был поражен ужасной болезнью и в минуты кризисов становился нетерпимым для всех окружающих.

Однако между этими, такими различными, людьми вскоре установилась дружба и любовь. Шекспировской трагедией веет от страниц, описывающих как Лифарь остался с умирающим Дягилевым в Венеции в 1929 году; как он мыл, подстригал и причесывал потом сам умершего друга для последнего земного пути.

У Лифаря, как у всех высоко одаренных людей, было много завистников; но его необычайный талант и очарование его личности привлекали и покоряли тысячи людей.

Глуминациононной славы Лифарь достиг в Парижской опере, где он скоро стал директором хореографии и первым танцовщиком. Но Лифарь это не только величайший танцор и хореограф своего времени; это — сложная, многогранная натура; это — большое сердце. Он любил искусство в любой форме: мог бы быть прекрасным музыкантом, глубоко интересовался литературой, особенно произведениями Пушкина. Лифарь стал незаурядным писателем в лучших русских традициях литературоведа.

Мучительно читать страницы, с описаниями его жизни и судьбы Парижа и Франции во время немецкой оккупации. Только тот, кто сам был во Франции в это время, может оценить и понять его трудное, часто безвыходное положение. Нужно ли говорить о том, сколько клеветы, несправедливых нападок, отвратительной лжи он вынес за те страшные годы. Известно, что он не раз тогда проявлял исключительное бесстрашие и находчивость — не даром его предки были закалены столетиями в борьбе против врагов России.

Гений Лифаря освещает не только целую эпоху танцев, балета, хореографии; он преломляет события мировой истории как свидетель, связанный с современным ему миром искусства и политики — все это делает его воспоминания особенно интересными.

Ни время, ни испытания судьбы его не сломили — он и теперь ведет деятельную жизнь: руководит Обществом охраны русских культурных ценностей в Париже; участвует в составлении Золотой книги русской эмиграции; заведует Институтом танца при Сорбонне.

Книга «Моя жизнь» написана хорошим литературным французским языком и, безусловно, может оказать бесценные услуги каждому одаренному молодому человеку, преодолевающему неизбежные трудности для осуществления своей мечты.



С. Л. В. Nikolaus v. Arseniev. "Die geistigen Schicksale des russischen Volkes" Verlag Styria, Graz, 1966.

Профессор Николай Сергеевич Арсеньев занимает в русской эмиграции особое место — более, чем кто-либо другой, он одновременно тесно связан с русской культурной и, следовательно, религиозной традицией и с тем просвещенным, западным, европейским миром, в котором он так же дома, как на русской почве. Поэтому именно он мог взяться за трудную попытку дать иностранному читателю картину духовной судьбы русского народа — противоречий, качеств и недостатков его сложной души.

Задача была нелегкой. История, будь то внешних событий, будь то побуждений человека и, тем более, народа — не точная наука, в которой возможны формулы и аксиомы. Она часто подвергается намеренному искажению. Н. С. Арсеньев это показал в предисловии к своему труду на примере изображения князя Дмитрия Пожарского советскими историкографами. Под их пером освободитель Москвы от поляков стал победителем «интервентов», лишенным религиозных побуждений. Н. С. Арсеньев это упрощение отвергнул — он показал противоречия в русской духовной

жизни и установил их связь с исторической судьбой русского народа. Он напомнил, что русская духовная, религиозная и нравственная традиция все еще жива, несмотря на то давление и искажение, которому она подвергнута, вот уже 49 лет.

Влияние русского пространства, беспредельной русской шири на душу народа, о которой автор книги говорит, как о духовной особи, объяснено в первой главе с оговоркой, что одной этой ширию порождено не все. К тому же, установив наличие территориальных, областных различий, проявляющихся или, вернее, проявившихся в душевном облике, в характере ветвей единой нации, Н. С. Арсеньев не скрыл от иностранцев и того, как на этих различиях отразилось нивелирующее влияние большевизма. Данное им во второй главе описание русского дореволюционного быта имеет теперь, преимущественно, историческое значение, но то, что о прошлом знаем мы, русские, иностранцу не всегда известно. Он прочтет эту главу с тем большим вниманием, что автор не уклонился от темных красок там, где они были неизбежны, например, в изображении народного пьянства. Если при наличии этих красок картина осталась светлой, это случилось потому, что Евангельские семена, посеянные христианством в русской народной душе, давали и дают всходы, о которых Н. С. Арсеньев говорит убедительно.

Третья глава — мастерски описанный пример психологической сложности русского человека. Для изображения этой сложности автор избрал историческую личность — великолепного князя Тавриды. Присущая Н. С. Арсеньеву эрудиция, подкрепленная подлинной, глубокой культурой и безошибочным ощущением русской старины создали увлекательный портрет.

Само собой разумеется, что значительная часть книги посвящена православию, которое автор называет по-немецки Восточной Церковью. Укорененность русского народа в Церкви, влияние веры на проявления национального духа представлены ярко и выпукло. Наш народ показан иностранному читателю в сиянии того самого высокого и светлого, что ему принадлежит.

Значение Церкви, как воспитательницы народа, описано в пятой главе. В ней же собраны примеры русского благочестия и милосердия, как прошлого, так и современного. В следующей главе спокойно и беспристрастно рассказана почти неизвестная западному миру история русского церковного раскола. Примечательны — для правильного понимания духовного облика самого Н. С. Арсеньева — те имена, которые он перечислил, как образцы русского мужества — А. К. Толстой, С. Н. Трубецкой, Н. С. Гумилев и П. А. Столыпин.

Духовная судьба России была бы изображена неполно, если бы автор не коснулся значения Востока и Запада в истории русской культуры и русского духа. Он это сделал в седьмой главе, высказав мысли, которые,

вероятно, будут признаны спорными частью его русских читателей. Восток и Запад — по его мнению — слились в России в культурном синтезе. Не показал ли семнадцатый год непрочность этого синтеза и всю хрупкость поверхностной европеизации, создавшей ров между социальными верхами и низами русского народа?

Творческим вершинам синтеза — Пушкину, Толстому, Достоевскому — посвящена восьмая глава. Она же заканчивает первую часть книги. В краткой рецензии невозможно, хотя бы сжато перечислить все богатство знания и всестороннего проникновения в духовную жизнь России, которым автор щедро поделился с теми, кто внимательно его прочтет.

Во второй половине книги социальным, экономическим и политическим проявлениям русской жизни отведено больше места, чем в первой. Положение русского крестьянства до реформ Александра II и значение этих реформ представлены так подробно, с таким избытком конкретных фактов и блестящих обобщений, что эти главы могли бы стать монографиями и, даже в этом виде, содержали бы, особенно для иностранцев, много нового и любопытного. В то же время, связь нашей трагической эпохи с последствиями перемен, происшедших в русской жизни при Царе-Освободителей, настолько очевидна, что автору труднее, чем в первой половине его книги, остаться летописцем, который «спокойно зрит на правых и виновных». Это становится особенно трудным, когда он касается таких недавних событий, как судьба Распутина или возникновение и крушение революционного правительства.

Он вновь становится убедительнее и бесспорнее, когда от злобы вчерашнего дня возвращается к тому вечному, что заложено в русскую душу христианством. Несокрушимость этой основы русского духа приводит к дуализму, существующему в современном Советском Союзе — к неустранимому противоречию между коммунистической властью и народом. В наличии этого дуализма — сказано в четырнадцатой главе — одновременно и трагедия, и надежда русского народа.

Не умолчал автор и об опасности т. н. советского патриотизма, прививаемого народу в России и проникающего, увы, и в русскую зарубежную среду. «Этот патриотизм, — написал он в той же главе, — лишенный какого-либо нравственного основания и религиозной связи, легко объединяется с советской идеологией и стал ныне одной из главных основ советской пропаганды». Н. С. Арсеньев отвергает этот лже-патриотизм мужественно и безусловно. Он не ставит политических прогнозов. Он ограничивается тем, что выражает, в последних словах своей блестящей и местами вдохновенной книги, подкрепленную всем историческим прошлым нашего народа твердую надежду на то, что он вернется, рано или поздно, на путь, указанный ему благой Евангельской вестью.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАНАДА	3
М. Могилянский. ИСТОРИЯ КАНАДЫ	6
Б. Ф. Раневский	31
Б. Раневский. О ДОСТОЕВСКОМ	32
Ю. Трубецкой : «Осень». Стих.	49
Вл. Дитерихс ф.-Дитрихсштейн : «Осени воздух душистый...» Стих.	50
Николай Щукин : «Две осени». Стих.	51
Л. Фабрициус : «Я болен осенней грустью». Стих.	51
Юрий Трубецкой : СМУТА. Конец первой части	52
Евгения Мор : «Счастье матери». Стих.	61
Георгий Евангулов : «Твой Ангел-Хранитель». Стих.	62
А. Шиманская. НЕДОРАЗУМЕНИЕ	63
Клавдия Петрово : «Рассыпал полдень...» Стих.	68
Евгения Димер. НЕОЖИДАННАЯ МЕСТЬ	69
Зинаида Ковалевская : «Милый дом...» Стих.	78
Григорий Климов. БРАТЬЯ. 1-ая глава из романа «Имя мое Легион»	79
Алексей Угрюмов. ЗЕМЛЯ ЗОВЕТ. Рассказ.	110
Е. Рубисова : «Радуга». Стих.	115
Элла Боброва : «Лечу...». Стих.	116
Ю. Терапиано. Памяти З. Н. Гиппиус	117
Александр Биск. ГОРЕ ОТ УМА (к 120-летнему юбилею)	121
А. Дынник. О ПРОИСХОЖДЕНИИ РУССКОГО ЛИТЕ- РАТУРНОГО ЯЗЫКА	142
Н. Белавина : «Должно быть ты горя во век не знал...». Стих.	153
В. Утренев : «Восход на Ай-Петри». Стих.	154
Андрей Галицкий. ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА	155
КНИЖНАЯ ПОЛКА	
Ю. Терапиано. А. Седых «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ»	182
В. Морт. Н. Белавина «ЗЕМНОЕ СЧАСТЬЕ»	185
Иъж. А. Кирилов. Сергей Лифарь «МОЯ ЖИЗНЬ»	189
С. Л. В. Nikolaus v. Arseniev "Die Geistige Schicksale des russischen Volkes"	190

Стоимость подписки на ЧЕТЫРЕ номера журнала — 5 долларов. Все расчеты по подписке вне КАНАДЫ следует производить, придерживаясь курса канадского доллара.

Цена отдельного номера в Канаде и США — 2 доллара 50 ц.
во Франции — 5 франков.

СОВРЕМЕНИК ПРОДАЕТСЯ

в Канаде:

Walter's Book and Gift Store
454 1/2 Dundas St. West, Toronto 2B, Ontario.

во Франции:

Les Editeurs Reunis
11, rue de la Montagne Ste-Genevieve, Paris 5-e.

Maison du Livre Etranger
9, rue de l'Eperon, Paris 6 e.

в Соединенных Штатах:

The Book House
77 Plaza, Room 103-105, Bridgeport 3, Connecticut

Novoye Russkoye Slovo
243 West 56th St., New York 19, New York.

Anatole E. Loukashkin, Book and Subscription Agency
1212 - 23rd Avenue, San Francisco 22, California.

Victor Kamkin, Bookstore
1410 Columbia Road, N. W. Washington, D. C. 20009

S. Davidova
4647 Pacific Ave., Detroit 4, Mich.

в Австралии и Новой Зеландии:

Book Import Distribution
18-24 Canberra Street, Carrum
Victoria, Australia

Издательство и Редакция:

Sovremennik Publishing Association Incorporated
V. SAVIN, Editor

44 Gower St., Toronto 16, Ontario, Canada